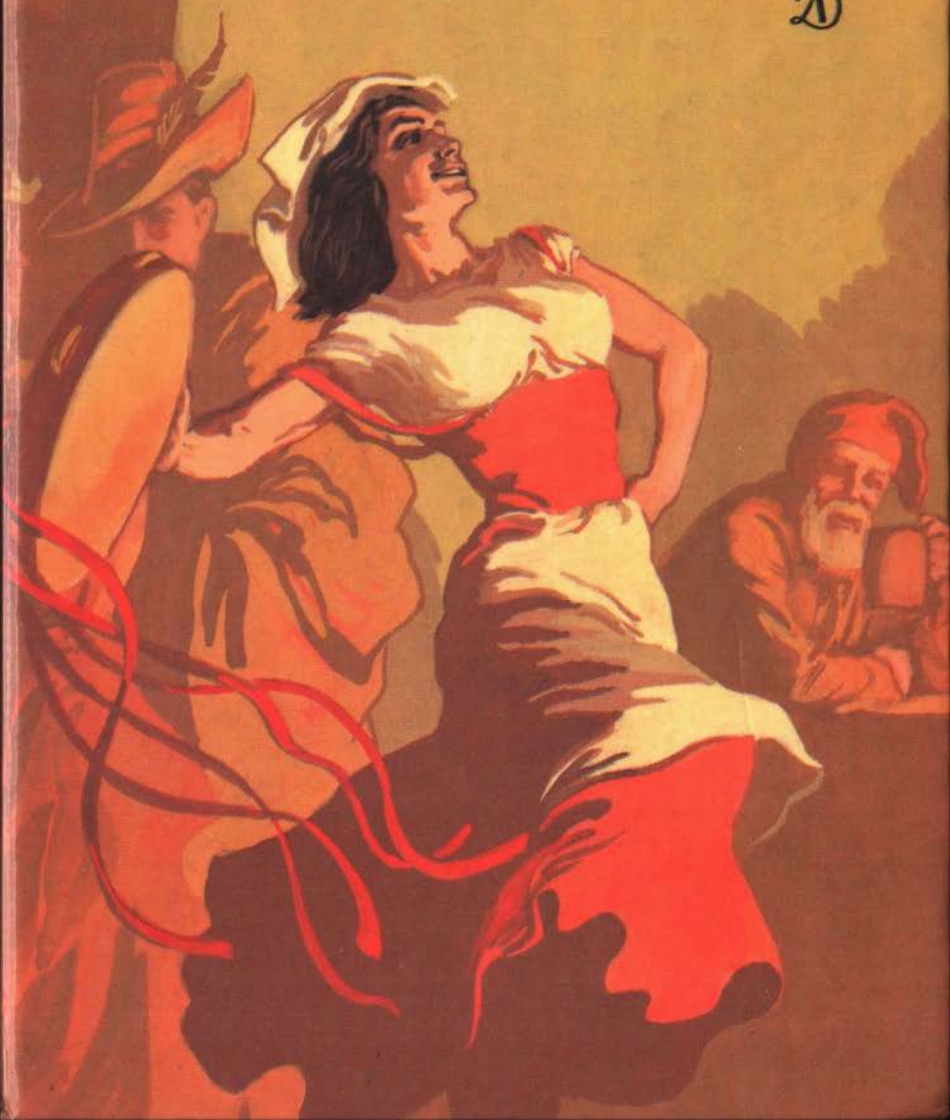


М. Горький
СКАЗКИ
ОБ
ИТАЛИИ

Д







М. Горький
СКАЗКИ
ОБ
ИТАЛИИ

ГРАВЮРЫ К. БЕЗБОРОВОДА

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

И з д а н и е в т о р о е

П р е д и с л о в и е Б . А . Б я л и к а

Текст печатается по изданию:
М. Горький. Полное собрание сочинений.
Художественные произведения
в двадцати пяти томах.
М., Наука. 1971, т. 12.

Горький А. М.

Г71 Сказки об Италии/Предисл. Б. А. Бялика; Гравюры К. Безбородова.—
2-е изд.— М.: Дет. лит., 1987. —127 с., ил.

В. пер.: 45 к.

В книгу вошли почти все «Сказки об Италии», которые были напечатаны в
большевистской газете «Звезда» и были названы В. И. Лениным «великолепными».

Г $\frac{4803010102-048}{M101(03)87}$ 223—87

Р2

Предисловие

«Сказки об Италии» были опубликованы М. Горьким в 1911—1913 гг., когда он вынужден был жить вдалеке от Родины, на итальянском острове Капри. Царские власти грозили ему расправой за участие в революции 1905 года.

В. И. Ленин писал М. Горькому в 1912 году: «Великолепными «Сказками» Вы очень и очень помогали «Звезде» и это меня радовало чрезвычайно...»¹ Из другого письма В. И. Ленина видно, что «Сказки об Италии» особенно понравились ему своим бодрым, «духоподъемным» настроением.

Были ли главной причиной этого настроения события, происходившие в те годы в Италии? Нет, гораздо большее значение для М. Горького имели те вести, которые стали приходить из родной страны и которые свидетельствовали о начале нового революционного подъема, наступившего в России после поражения революции 1905 года и после мрачной полосы реакции. Но обо всем этом писатель узнавал пока лишь из газет и из рассказов русских людей, приезжавших к нему на Капри. А перед его глазами была Италия. Перед его глазами был итальянский народ, лучшие люди которого видели в революционной России вдохновляющий пример для себя. М. Горький испытывал глубокие симпатии к итальянцам и радовался всему новому, возникавшему в их жизни. Вот о чем шла речь в его рассказах об Италии.

Почему он назвал эти рассказы сказками? На первый взгляд для этого не было оснований. Сказками называют произведения о чем-то фантастическом и нереальном,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 48, с. 47. В большевистской газете «Звезда» были напечатаны «Сказки»: I, II, IV, VIII, XIII, XIV и XVII. Почти все они включены в этот сборник.

а что же в «Сказках об Италии» не реально? Давно доказано, что многое в них нарисовано «с натуры», отражает факты действительности¹. Значит, М. Горький назвал эти произведения сказками лишь для того, чтобы подчеркнуть красоту изображенной в них «натуры»? Читаем же мы в одном его письме из Италии: «И быт, и природа — все сказочное». Но о «сказочности» реальной действительности говорилось и в рассказах «По Руси», созданных М. Горьким одновременно со «Сказками об Италии». А между тем эти рассказы о прошлом родной страны он так и назвал — рассказами (иногда он называл их даже «очерками»). В чем же было различие?

«Сказкам об Италии» предпосланы слова Г. Андерсена: «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь». Надо сказать, что в точности такого афоризма, такого изречения в произведениях знаменитого датского писателя-сказочника найти не удалось. Но в них есть немало сходных фраз: «Жизнь — чудеснейшая из сказок», «из действительности и вырастают чудеснейшие сказки» и т. д. Значит, и Г. Андерсен считал, что сказками можно называть рассказы о реальной жизни? Однако сам он все же создавал настоящие сказки, а М. Горький, повторив его мысль, создал нечто другое. Что же именно?

На этот счет существуют разные мнения. Обращаясь в 1912 году к М. Горькому с просьбой написать «духподъемную» майскую листовку, В. И. Ленин замечал: «Хорошо бы иметь *революционную* прокламацию в типе «Сказок» «Звезды»...»² А большевистская газета «Правда» писала о «Сказках об Италии»: «Горький в своих сказках очень часто дает не бесстрастные художественные воплощения, а горячие... публицистические статьи... Он как бы рисует или пытается начертить некоторые особенности психики «новых людей», борющихся в современном обществе за новую правду».

Так что же такое «Сказки об Италии»? Сказки, рассказы, прокламации или художественная публицистика? В какой-то мере они — и то, и другое, и третье, и четвертое. Это — рассказы, раскрывающие «сказочное» в реальной жизни, но видящие ее «сказочность» не просто

¹ См. об этом в книге К. Д. Муратовой «М. Горький на Капри» (Л., «Наука», 1971, с. 146—184) и в комментариях Л. П. Быковцевой к «Сказкам об Италии» (М. Горький. Полное собрание сочинений, М., «Наука», 1971, т. 12, с. 538—564).

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 48, с. 47.

в красоте, а в том, чему посвящались революционные прокламации, листовки, публицистические статьи: в появлении «новых людей», в рождении новых, небывалых особенностей их психологии. В написанном в 1906 году ярко публицистическом очерке «9-е января» М. Горький так раскрыл главный смысл трагических событий Кровавого воскресенья: «Толпа медленно, но неуклонно изменялась, перерождаясь в народ». Перерождение толпы в народ произошло тогда за один день, ставший началом первой русской революции. Но подобные перерождения людей — крутые перемены в их сознании — происходили не только в условиях мощных революционных взрывов. Они совершались и в повседневной жизни, под влиянием неприметных и, казалось бы, незначительных обстоятельств, тем более поражая своей внезапностью, неожиданностью, «сказочностью».

Именно такие крутые и внезапные перемены, такие неожиданные перерождения — главная тема «Сказок об Италии». В первой сказке описана забастовка трамвайщиков в Неаполе. Большая толпа людей, которым мешали ехать по делам, ропщет на забастовщиков, но, когда приходят и влезают в вагоны грозные солдаты, та же толпа вдруг ложится на рельсы, чтобы не дать сорвать забастовку. Ведь те, кто роптал, сами — труженики, и они начинают понимать: трамвайщики прекратили работу потому, что «не хватает детям на макароны». А в другой сказке речь идет о том, как не менее грозных солдат присылают в деревню для расправы над непокорными крестьянами. В деревне солдат встречают камнями, а провожают цветами, потому что солдаты отказываются стрелять.

В наше время подобными фактами трудно удивить. Нам известно немало случаев, когда солдаты в капиталистических странах отказывались стрелять в народ и когда люди, рискуя жизнью, ложились из чувства солидарности на рельсы. Но в пору создания «Сказок об Италии» это чувство только рождалось и поражало многих. Так и в случае, описанном в сказке о детях из Пармы. В Парме бастовали рабочие, а в Генуе «чужие» люди встречали их детей, чтобы взять на время в свои семьи, — встречали радостными приветствиями, музыкой, дождем цветов. Был ли когда-нибудь до этого такой удивительный праздник?

А в сказке о строительстве Симплонского туннеля

описано рождение другого чувства, столь же необычного во время создания «Сказок об Италии», как солидарность и братство «чужих» людей, и столь же прекрасного и великого на все времена (только мы привыкли к нему и перестаем замечать его «сказочность»): чувства наслаждения трудом. Тем, кто строил туннель, соединивший под высокой горой Италию со Швейцарией, пришлось очень тяжело. Подневольный труд, труд ради куска хлеба, вообще воспринимался как бремя, а тут земля обливала людей горячей водой и готова была каждую минуту на них обрушиться. Люди задыхались, заболели, теряли веру в успех. Но наступила какая-то минута, когда ими вдруг овладело совсем другое чувство. Они поняли, что побеждают гору, что стихии покоряются им, и ощутили гордость своим трудом. Не только молодые и сильные, подобные Паоло, но и такие, как его отец, надорвавшийся и почувствовавший близость смерти, поверили в свою победу. И тогда умирающий старик попросил сына прийти к нему на могилу и рассказать о завершении строительства. Паоло так и поступил. Он знал, что отец его уже не услышит, но пришел на могилу и сказал: «Отец — сделано! Люди — победили. Сделано, отец!»

В одной из сказок рассказано о встрече очень разных и во многом не согласных друг с другом, но тем не менее очень интересных друг другу людей. Один из них — крупный, знаменитый инженер — изобретатель. Он любит умом и пытливостью молодого рабочего, но не может понять, почему тот не учится, а «бунтует», ведет революционную пропаганду. Инженер не верит в возможность революции, не верит в социализм. Ему непонятно, как этот рабочий парень может считать своими предками великих людей прошлого и что означают его странные слова: «Когда я читаю книгу, вижу картину, люблюсь прекрасным, — я чувствую себя так, как будто сам сделал все это!» А между тем в этих словах нашло выражение рождавшееся тогда у людей труда великое чувство своей сопричастности ко всему процессу изменения жизни. Какой это был переворот в сознании бесправных и угнетенных тружеников — почувствовать себя творцами истории, настоящими хозяевами Земли!

Не все «Сказки об Италии» рассказывают о рождении таких новых чувств, предвещающих «сказочное» преобразование мира. В некоторых сказках даны картинки итальянского быта, например в сказке о свадьбе бедняков

(мы не могли не вспомнить об этом эпизоде, когда смотрели кинофильм «Два гроша надежды»). Трагична история любви рабочего-социалиста и девушки, находившейся во власти религии. В самом первом рассказе М. Горького «Макар Чудра», опубликованном в 1892 году, приведена легенда о Лойке Зобаре и Радде — о юных и красивых людях, которые страстно любили друг друга, но еще больше любили волю и, не желая покориться один другому, предпочли покорности смерть. Но то была легенда, сказка, а в итальянской «сказке» идет речь о реальной жизненной драме, причиной которой стала «роковая непримиримость» взглядов, убеждений, идеалов.

Однако в «Сказках об Италии» тон задают те из них, в которых рассказано, как новое и светлое побеждает старое и темное. Несколько сказок посвящено матерям. Можно подумать, что эти сказки мало связаны с главной темой «Сказок об Италии». Ведь и те из них, которые рассказывают о далеком прошлом (например, легенда о матери, не испугавшейся завоевателя и тирана Тамерлана и заставившая его вернуть ей захваченного в плен сына), и те, сюжеты которых прямо выхвачены из жизни (сказка о Нунче и ее дочери), — все они воспевают всегда существовавшее и вечное чувство материнства. Но если чувство материнства всегда было, то чувство уважения к женщине, особенно к женщине-матери, рождалось постепенно, все более возвышая и духовно обогащая людей. Когда в советские годы к М. Горькому обращались с вопросом, какие из своих произведений он считает наиболее подходящими для воспитания молодежи, он нередко называл именно те из «Сказок об Италии», в которых идет речь о матерях.

Неразрывно связаны с главной темой «Сказок об Италии» и те из них (а таких много), в которых говорится о детях. «Герольды весны», то есть вестники весны, вестники обновления природы и всей жизни, — так сказано о детях в этих сказках. И еще в них сказано, что дети — «веселые владыки земли». Как наивен был бедный, почти нищий мальчик Пепе, который не понимал, почему у одних людей много вещей, гораздо больше, чем надо нормальному человеку, а у других ничего нет! И как прекрасна, как мудра была эта детская наивность, в которой засветилась заря грядущего общества — общества, где не будет бедных и богатых и где каждый будет получать по потребностям, а давать по способностям.

Сказка? Маркс, Энгельс и Ленин доказали не только то, что такое общество может быть, но и то, что оно не может не быть, что к нему ведет вся история человечества.

...Недавно автор этих строк побывал в Италии, на острове Капри, где когда-то жил М. Горький и где он написал в числе многих произведений (почти все они были посвящены родной стране, России) свои итальянские сказки. Сохранился дом, в котором гостил у М. Горького В. И. Ленин. На Капри В. И. Ленин приезжал дважды. В первый раз, в 1908 году, он смог провести у М. Горького лишь несколько дней, а во второй, в 1910 году, он прожил у него две недели. Они вместе ездили в Неаполь и другие города, расположенные на берегах Неаполитанского залива, поднимались на Везувий, отправлялись с итальянскими рыбаками на рыбную ловлю. Наверное, они встречались с многими героями будущих «Сказок об Италии» и рассуждали о судьбах итальянцев и всех людей земли. Во всяком случае, на «великолепных» сказках М. Горького лежит отсвет ленинских мыслей, ленинского интернационализма, ленинской непоколебимой веры в будущее человечества.

На том месте, где В. И. Ленин и М. Горький особенно любили проводить время — на маленькой площадке, нависшей высоко над морем, — сейчас стоит обелиск с барельефом Владимира Ильича. Этот белый, сияющий на солнце обелиск воздвигали потомки героев «Сказок об Италии». Это — выражение их благодарности вождю мирового пролетариата. Уже не раз на маленькой площадке, откуда нельзя смотреть вниз без головокружения, разыгрывались ожесточенные рукопашные схватки. Неофашисты пытались сбросить памятник с обрыва в море, а те, кому дорого будущее, бесстрашно сопротивлялись им.


Обелиск стоит невредимым, и когда смотришь на него, начинает казаться, что будущее не так уж далеко от настоящего. Начинаешь думать, что не так уж далек тот день, когда человек придет на главную площадь Земли — на Красную площадь, поднимется на самую высокую, самую почетную трибуну мира и скажет, обращаясь к тому, чей священный прах покоится в Мавзолее:

«Отец — сделано! Люди — победили. Сделано, отец!»

Б. Бялик



ЗАБАСТОВКА В НЕАПОЛЕ

 Неаполе забастовали служащие трамвая: во всю длину Ривьеры Кьяя вытянулась цепь пустых вагонов, а на площади Победы собралась толпа вагонновожатых и кондукторов — всё веселые и шумные, подвижные, как ртуть, неаполитанцы. Над их головами, над решеткой сада сверкает в воздухе тонкая, как шпага, струя фонтана, их враждебно окружает большая толпа людей, которым надо ехать по делам во все концы огромного города, и все эти приказчики, мастеровые, мелкие торговцы, швеи сердито и громко порицают забастовавших. Звучат сердитые слова, колкие насмешки, непрерывно мелькают ру-

ки, которыми неаполитанцы говорят так же выразительно и красноречиво, как и неугомонным языком.

С моря тянет легкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают веерами темно-зеленых ветвей, стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки — полуголые дети неаполитанских улиц — скачут, точно воробьи, наполняя воздух звонкими криками и смехом.

Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет, как орган; синие волны залива бьют в камень набережной, вторя ропоту и крикам гулкими ударами, — точно бубен гудит.

Забастовщики угрюмо жмутся друг ко другу, почти не отвечая на раздраженные возгласы толпы, влезают на решетку сада, беспокойно поглядывая в улицы через головы людей, и напоминают стаю волков, окруженную собаками. Всем ясно, что эти люди, однообразно одетые, крепко связаны друг с другом непоколебимым решением, что они не уступят, и это еще более раздражает толпу, но среди нее есть и философы: спокойно покуривая, они увещевают слишком ретивых противников забастовки:

— Э, синьор! А как быть, если не хватает детям на макаронь?

Группами, по два и по три, стоят щеголевато одетые агенты муниципальной полиции¹, следя за тем, чтобы толпа не затрудняла движения экипажей. Они строго нейтральны, с одинаковым спокойствием смотрят на порицаемых и пори-

¹ М у н и ц и п а л ь н а я п о л и ц и я — полиция при муниципалитете; м у н и ц и п а л и т е т — городское или сельское самоуправление в буржуазных странах.

цающих и добродушно вышучивают тех и других, когда жесты и крики принимают слишком горячий характер. На случай серьезных столкновений в узкой улице вдоль стен домов стоит отряд карабинеров¹, с коротенькими и легкими ружьями в руках. Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких плащах, с красными, как две струи крови, лампасами на брюках.

Перебранка, насмешки, упреки и увещевания — все вдруг затихает, над толпой проносится какое-то новое, словно примиряющее людей веяние, — забастовщики смотрят угрюмое и, в то же время, сдвигаются плотнее, в толпе раздаются возгласы:

— Солдаты!

Слышен насмешливый и ликующий свист по адресу забастовщиков, раздаются крики приветствий, а какой-то толстый человек, в легкой серой паре и в панаме, начинает приплясывать, топая ногами по камню мостовой. Кондуктора и вагоновожатые медленно пробиваются сквозь толпу, идут к вагонам, некоторые влезают на площадки, — они стали еще угрюмое и в ответ на возгласы толпы — сурово огрызаются, заставляя уступать им дорогу. Становится тише.

Легким танцующим шагом с набережной Санта Лючия идут маленькие серые солдатики, мерно стуча ногами и механически однообразно размахивая левыми руками. Они кажутся сделанными из жести и хрупкими, как заводные игрушки. Их ведет красивый высокий офицер, с нахмуренными бровями и презрительно искривленным ртом, рядом с ним, подпрыгивая, бежит

¹ К а р а б и н е р — конный жандарм в Италии.

тучный человек в цилиндре и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчисленными жестами.

Толпа отхлынула от вагонов — солдаты, точно серые бусы, рассыпаются вдоль их, останавливаясь у площадок, а на площадках стоят забастовщики.

Человек в цилиндре и еще какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивая руками, кричат:

— Последний раз... *Ultima volta!*¹ Слышите?

Офицер скучно крутит усы, наклонив голову, к нему, взмахнув цилиндром, подбегает человек и хрипло кричит что-то. Офицер искоса взглянул на него, выпрямился, выправил грудь, и — раздались громкие слова команды.

Тогда солдаты стали прыгать на площадки вагонов, на каждую по два, и в то же время оттуда посыпались вагоновожатые с кондукторами.

Толпе показалось это смешным — вспыхнул рев, свист, хохот, но тотчас — погас, и люди молча, с вытянутыми, посеревшими лицами, изумленно вытаращив глаза, начали тяжело отступать от вагонов, всей массой подвигаясь к первому.

И стало видно, что в двух шагах от его колес, поперек рельс, лежит, сняв фуражку с седой головы, вагоновожатый, с лицом солдата, он лежит вверх грудью, и усы его грозно торчат в небо. Рядом с ним бросился на землю еще маленький, ловкий, как обезьянка, юноша, вслед за ним, не торопясь, опускаются на землю еще и еще люди...

¹ Последний раз! (*итал.*)



Толпа глухо гудит, раздаются голоса, пугливо зовущие мадонну, некоторые мрачно ругаются, взвизгивают, стонут женщины, и, как резиновые мячи, всюду прыгают пораженные зрелищем мальчишки.

Человек в цилиндре орет что-то рыдающим голосом, офицер смотрит на него и пожимает плечами, — он должен заместить вагоновожатых

своими солдатами, но у него нет приказа бороться с забастовавшими.

Тогда цилиндр, окруженный какими-то угодливыми людьми, бросается в сторону карабинеров,— вот они тронулись, подходят, наклоняются к лежащим на рельсах, хотят поднять их.

Началась борьба, возня, но — вдруг вся серая, пыльная толпа зрителей покачнулася, взревела, взвыла, хлынула на рельсы,— человек в панаме сорвал с головы свою шляпу, подбросил ее в воздух и первый лег на землю рядом с забастовщиком, хлопнув его по плечу и крича в лицо его ободряющим голосом.

А за ним на рельсы стали падать — точно им ноги подрезали — какие-то веселые шумные люди,— люди, которых не было здесь за две минуты до этого момента. Они бросались на землю, смеясь, строили друг другу гримасы и кричали офицеру, который, потрясая перчатками под носом человека в цилиндре, что-то говорил ему, усмехаясь, встряхивая красивой головой.

А на рельсы все сыпались люди, женщины бросали свои корзины и какие-то узлы, со смехом ложились мальчишки, свертываясь калачиком, точно озябшие собаки, перекатывались с боку на бок, пачкаясь в пыли, какие-то прилично одетые люди.

Пятеро солдат с площадки первого вагона смотрели вниз на груды тел под колесами и — хохотали, качаясь на ногах, держась за стойки, закидывая головы вверх и выгибаясь, теперь — они не похожи на жестяные заводные игрушки.

...Через полчаса по всему Неаполю с визгом и скрипом мчались вагоны трамвая, на пло-

щадках стояли, весело ухмыляясь, победители, и вдоль вагонов ходили они же, вежливо спрашивая:


— Биллетти?!

Люди, протягивая им красные и желтые бумажки, подмигивают, улыбаются, добродушно ворчат.





ДЕТИ ИЗ ПАРМЫ

 В Генуе, на маленькой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа — преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы — члены муниципалитета, над их головами колышется тяжелое, искусно вышитое шелком знамя города, а рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копыя на древках, шелестит шелк, и гудит, как хор, поющий вполголоса, торжественно настроенная толпа людей.

Над нею, на высоком пьедестале — фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал

за то, что верил, и — победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами:

«Побеждают только верующие».

У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы, медь на солнце сверкает, точно золото.

Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, глухая работа винта в воде, звон цепей, свистки и крики — на площади тихо, душно и все облито жарким солнцем. На балконах и в окнах домов — женщины, с цветами в руках, празднично одетые фигурки детей, точно цветы.

Свистит, подбегая к станции, локомотив — толпа дрогнула, точно черные птицы, взлетело над головами несколько измятых шляп, музыканты берут трубы, какие-то серьезные, пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево.

Тяжело и не торопясь толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу.

— Кого встречают?

— Детей из Пармы!

Там забастовка, в Парме. Хозяева не уступают, рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную.

Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей, они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях, — мохнатыми, точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд — очень маленькие, пыльные, видимо усталые. Их лица серьезны, но глаза

блестят живо и ясно, и, когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди¹, — по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает, веселою рябью, улыбка удовольствия.

Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком, пред ними склоняются знамена, ревет медь труб, оглушая и ослепляя детей, — они несколько ошеломлены этим приемом, на секунду подаются назад и вдруг — как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и сотнями голосов, но звуком одной груди крикнули:

— Viva Italia!²

— Да здравствует молодая Парма! — гремит толпа, опрокидываясь на них.

— Evviva Garibaldi!³ — кричат дети, серым клином врезаясь в толпу и исчезая в ней.

В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки, оттуда сыплется на головы людей дождь цветов и веселые, громкие крики.

Все стало праздничным, все ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами.

Качаются знамена, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные темные лапы, ловя цветы и приветствуя, и все гремит в воздухе непрерывный мощный крик:

— Viva il Socialismo!⁴

— Evviva Italia!⁵

¹ Г а р и б а л ь д и Дж у з е п п е (1807—1882) — вождь национально-освободительного движения в Италии в середине XIX века.

² Да здравствует Италия! (итал.)

³ Да здравствует Гарибальди! (итал.)

⁴ Да здравствует социализм! (итал.)

⁵ Да здравствует Италия! (итал.)



Почти все дети расхватаны по рукам, они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых усатых людей; музыка едва слышна в шуме, смехе и криках.

В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу:

— Вы берете двоих, Аннита?

— Да. Вы тоже?

— И для безногой Маргариты одного...

Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб.

— В наше время об этом не думали! — говорит старик с птичьим носом и черной сигарой в зубах.

— А — так просто...

— Да! Это просто и умно.

Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее конец и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидав около себя двух ребят из Пармы, видимо братьев, сделал грозное лицо, ощетинился, — они смотрели на него серьезно, — нахлобучил шляпу на глаза, развел руки, дети, прижавшись друг ко другу, нахмурились, отступая, старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он — встал, поправил шляпу и, решив, что сделал все, что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь.

Горбатая и седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими серыми волосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и — плачет, отирая красные глаза концом выцветшей шали. Темная и уродливая, она так странно одинока среди возбужденной толпы людей...

Приплясывая, идет черноволосая гемуэзка, ведя за руку человека лет семи от роду, в деревянных башмаках и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головенкой, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она все падает ему на лицо, женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется, мальчуган смотрит на нее, закинув голову, —

весь улыбка, потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают.

Высокий человек в кожаном переднике, с голыми огромными руками, держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана, рыжего, как огонь:

— Понимаешь,— если это привьется... Нас трудно будет одолеть, а?

И густо, громко, торжественно хохочет и, подбрасывая свою маленькую ношу в синий воздух, кричит:

— Evviva Parma-a!¹

Люди уходят, уводя и унося с собою детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет, веселая группа факино² и над ними благородная фигура человека, открывшего Новый Свет³.

А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни.

¹ Да здравствует Парма! (*итал.*)

² Ф а к и н о — носильщик.

³ То есть Колумба, открывшего Америку.





СИМПЛОНСКИЙ ТУННЕЛЬ¹

Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом, темное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и всё вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце; на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога

¹ Симплонский туннель соединяет Италию и Швейцарию; был сооружен в начале XX века в Швейцарских Альпах, его длина около 20 километров.

мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, хочется погладить ее рукою.

Около груды щебня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо смелое и ласковое.

Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

— Это, синьор, медаль за работу в Симплонском туннеле.

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

— Э, всякая работа трудна, до времени, пока ее не полюбишь, а потом — она возбуждает и становится легче. Все-таки — да, было трудно!

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

— Было даже страшно, иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать — не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану, — земля там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости, — это испытано многими! Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой; это было очень страшно! Порою, при огне, вода становилась красной, и отец мой говорил мне: «Ранили мы землю, потопит, сожжет она всех нас своею кровью, увидишь!» Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень, — забываешь о фантазиях. Там все было фантастично, дорогой синьор; мы, люди, — такие маленькие, и она, эта гора, — до небес, гора, которой мы сверлили

чрево... это надо видеть, чтоб понять! Надо видеть черный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли,— надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

— Человек — умеет работать! — продолжал он с гордостью.— О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать,— непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает всё, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это.

— «Прорезать гору насквозь из страны в страну,— говорил он,— это против бога, разделившего землю стенами гор,— вы увидите, что мадонна будет не с нами!» Он ошибся, мадонна со всеми, кто любит ее. Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

— «Дети бога»,— это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек,— «дети бога, так нельзя бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной! Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца, и, когда коснемся его,— оно сожжет нас, бросит в нас огонь, потому что сердце земли — огненное, это знают все! Возделывать землю — это так, помогать ее родам — нам заповедано, а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше врываемся мы

в гору, тем горячее воздух и труднее дышать»...

Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук.

— Не один он думал так, и это верно было: чем дальше — тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И всё сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

— «Разве я не прав?» — говорил отец, со страхом в глазах и кашляя все чаще, глуше... — «Разве я не прав? — говорил он. — Это непобедимо, земля!»

— И наконец — лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

— «Моя работа — кончена, Паоло, — сказал он мне однажды ночью. — Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе мадонна!» Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силою, что затрещали сухожилия.

— Взял за руку меня, привлек к себе и говорит — святая правда, синьор! — «Знаешь, Паоло, сын мой, я все-таки думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе, мы встретимся — ты веришь в это?»

Я — верил.

— «Хорошо, сын мой! Так и надо: все надо делать с верой в благостный исход и в бога, который помогает, молитвами мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится,

если сойдутся люди — приди ко мне на могилу и скажи: отец — сделано! Чтобы я знал!»

— Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он работал в туннеле, очень просил, но это уже бред, я думаю...

— Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горé через тринадцать недель после смерти отца — это был безумный день, синьор! О, когда мы услышали там, под землю, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землю — вы поймите, синьор,— под огромною тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу!

— Много дней слышали мы эти звуки, такие глухие, с каждым днем они становились всё понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей — мы работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний,— это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово! И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывается долгие месяцы!

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человеческими глазами, тихо и радостно продолжал:

— А когда, наконец, рушился пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами радости лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы,



крики радости, — о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую — нет, я не даром жил! Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали — и это было так хорошо, как сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю — в тот день особенно

близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину!

— Конечно, я пошел к отцу, о да! Конечно,— хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел: надо уважать желание тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал,— не так ли?

— Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал — как он желал этого:

— «Отец — сделано! — сказал я.— Люди — победили. Сделано, отец!»





СВАДЬБА

На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и при помощи чумазого смазчика почти внес к нам маленького кривого старика.

— Очень стар! — в голос сказали они, добродушно улыбаясь.

Но старик оказался бодрым; поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и, оглянув диваны зорким глазом, спросил:

— Позвольте?

Ему дали место, он сел, вздохнул облегченно

и, положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом.

— Далеко, дед? — спросил мой товарищ.

— О, только три станции! — охотно ответил кривой.— На свадьбу внука еду...

И через несколько минут словоохотливо рассказывал под шум колес поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день:

— Я — лигуриец¹, мы все очень крепкие, лигурийцы. Вот у меня тринадцать сыновей, четыре дочери, я уже сбиваюсь, считая внуков, это второй женится — хорошо, не правда ли?

И, гордо посмотрев на всех выцветшим, но еще веселым глазом, он тихонько засмеялся, говоря:

— Вот, сколько дал я людей стране и королю!

— Как пропал глаз? О, это было давно, еще мальчишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике, у нас трудная земля, просит большого ухода: много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз; я не помню боли, но за обедом глаз выпал у меня — это было страшно, синьоры!.. Его вставили на место и приложили теплого хлеба, но глаз помер!

Старик крепко потер бурую, дряблую щеку, снова улыбаясь добродушно и весело.

— Тогда не было так много докторов и люди жили глупее,— о да! Может быть, они добрей были? А?

Теперь его одноглазое кожаное лицо, все в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень, волосах, стало хитрым и ликующим.

¹ Л и г у р и е ц — житель Лигурии, области в Северной Италии.

— Когда живешь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли?

Он внушительно поднял вверх изогнутый темный палец, точно грозя кому-то.

— Я расскажу вам, синьоры, кое-что о людях...

— Когда умер отец — мне было тринадцать лет, — вы видите, какой я и теперь маленький? Но я был ловок и неутомим в работе — это все, что оставил мне отец в наследство, а землю нашу и дом продали за долги. Так я и жил, с одним глазом и двумя руками, работая везде, где давали работу... Было трудно, но молодость не боится труда — так?

В девятнадцать лет встретила девушка, которую мне суждено было любить, — такая же бедная, как сам я, она была крупная и сильнее меня, жила с матерью, больной старухой, и, как я, — работала где могла. Не очень красивая, но — добрая и умница. И хороший голос — о! Пела она, как артистка, а это уже — богатство! И я тоже не худо пел.

— «Женимся?» — сказал я ей.

— «Это будет смешно, кривой! — ответила она невесело. — Ни у тебя, ни у меня нет ничего — как будем жить?»

— Святая правда: ни у меня, ни у нее — ничего! Но — что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви; я настаивал и победил.

— «Да, пожалуй, ты прав, — сказала наконец Ида. — Если святая мать помогает тебе и мне теперь, когда мы живем отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе!»

— Мы пошли к священнику.

— «Это — безумие! — говорил священ-

ник.— Разве мало в Лигурии нищих? Несчастные люди, вы должны бороться с соблазнами дьявола, иначе — дорого заплатите за вашу слабость!»

— Молодежь коммуны¹ смеялась над нами, старики осуждали нас. Но молодость — упрямо и по-своему — умна! Настал день свадьбы, мы не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь.

— «Мы уйдем в поле! — сказала Ида.— Почему это плохо? Матерь божия везде одинаково добра к людям».

— Так мы и решили: земля — постель наша, и пусть оденет нас небо!

— Отсюда начинается другая история, синьоры, прошу внимания,— это лучшая история моей долгой жизни! Рано утром, за день до свадьбы, старик Джиованни, у которого я много работал, сказал мне — так, знаете, сквозь зубы — ведь речь шла о пустяках!

— «Ты бы, Уго, вычистил старый овечий хлев и постлал туда соломы. Хотя там сухо и овцы больше года не были там, все же нужно хорошо убрать хлев, если ты с Идой хочешь жить в нем!»

— Вот у нас и дом!

— Работаю я, пою — в дверях стоит столяр Констанцио, спрашивая:

— «Это тут будешь ты жить с Идой? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня ее, есть лишняя».

— А когда я шел к нему, сердитая Мария — лавочница — закричала:

— «Женятся, несчастные, не имея ни про-

¹ К о м м у н а — здесь: селение, сельская община.



стыни, ни подушек, ничего! Ты совсем безумец, кривой! Пришли ко мне твою невесту...»

— А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Этторе Виано кричит ей с порога своего дома:

— «Спроси его — много ли он припас вина для гостей, э? Ах, люди, что может быть легкомысленнее их?»

На щеке старика в глубокой морщине за-
сверкала веселая слеза, он закинул голову и
беззвучно засмеялся, играя острым кадыком,
тряся изношенной кожей лица и по-детски раз-
махивая руками.

— О, синьоры, синьоры! — сквозь смех, за-
дыхаясь, говорил он, — на утро дня свадьбы
у нас было все, что нужно для дома, — статуя
мадонны, посуда, белье, мебель — все, кля-
нусь вам! Ида плакала и смеялась, я тоже,
и все смеялись — нехорошо плакать в день
свадьбы, и все наши смеялись над на-
ми!..

— Синьоры! Это дьявольски хорошо — иметь
право назвать людей — наши! И еще более хо-
рошо чувствовать их своими, близкими тебе,
родными людьми, для которых твоя жизнь — не
шутка, твое счастье — не игра!

— И была свадьба — э! Удивительный день!
Вся коммуна смотрела на нас, и все пришли
в наш хлев, который вдруг стал богатым домом...
У нас было все: вино, и фрукты, и мясо, и хлеб,
и все ели, и всем было весело... Потому что,
синьоры, нет лучше веселья, как творить добро
людям, поверьте мне, ничего нет красивее и ве-
селее, чем это!

— И священник был. «Вот, — говорил он,
строго и хорошо, — вот люди, которые работали
на всех вас, и вы позаботились о них, чтобы им
стало легче в этот день, лучший день их жизни.
Так и надо было сделать вам, ибо они работали
для вас, а работа — выше медных и серебряных
денег, работа всегда выше платы, которую дают
за нее! Деньги — исчезают, работа — остается...
Эти люди — и веселы и скромны, они жили
трудно и не жаловались, они будут жить еще
труднее и не застонут — вы поможете им в

трудный час. У них хорошие руки и еще лучше их сердца...»

— Он много лестного сказал мне, Иде и всей коммуне!..


Старик, торжествуя, оглядел всех помолодевшим глазом и спросил:

— Вот, синьоры, кое-что о людях,— это вкусно, не правда ли?





ДРАМА ОДНОЙ ЛЮБВИ

 Весна, ярко блестит солнце, люди веселы, и даже стекла в окнах старых каменных домов улыбаются тепло.

По улице маленького городка пестрым потоком льется празднично одетая толпа — тут весь город, рабочие, солдаты, буржуа, священники, администраторы, рыбаки, — все возбуждены весенним хмелем, говорят громко, много смеются, поют, и все — как одно здоровое тело — насыщены радостью жить.

Разноцветные зонтики, шляпы женщин, красные и голубые шары в руках детей, точно причудливые цветы, и всюду, как самоцветные камни на пышной мантии сказочного короля, свер-

кают, смеясь и ликуя, дети, веселые владыки земли.

Бледно-зеленая листва деревьев еще не распустилась, свернута в пышные комки и жадно пьет теплые лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе.

Впечатление такое, точно люди пережили свои несчастья, вчерашний день был последним днем тяжелой, всем надоевшей жизни, а сегодня все проснулись ясными, как дети, с твердой, веселой верою в себя — в непобедимость своей воли, пред которой всё должно склониться, и вот теперь дружно и уверенно идут к будущему.

И было странно, обидно и печально — заметить в этой живой толпе грустное лицо: под руку с молодой женщиной прошел высокий, крепкий человек; наверное — не старше тридцати лет, но — седоволосый. Он держал шляпу в руке, его круглая голова была вся серебряная, худое здоровое лицо спокойно и — печально. Большие, темные, прикрытые ресницами глаза смотрели так, как смотрят только глаза человека, который не может забыть тяжкой боли, испытанной им.

— Обрати внимание на эту пару людей,— сказал мне мой товарищ,— особенно на него: он пережил одну из тех драм, которые всё чаще разыгрываются в среде рабочих северной Италии.

И товарищ рассказал мне:

— Этот человек — социалист, редактор местной рабочей газетки, он сам — рабочий, маляр. Одна из тех натур, у которых знание становится верой, а вера еще более разжигает жажду знания. Ярый и умный антиклерикал,— видишь, какими глазами смотрят черные священники в спину ему!

— Лет пять тому назад он, будучи пропагандистом, встретил в одном из своих кружков девушку, которая сразу обратила на себя его внимание. Здесь женщины выучились верить молча и непоколебимо, священники развивали в них способность много веков и добились чего хотели,— кто-то верно сказал, что католическая церковь построена на груди женщины. Культ мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный культ; мадонна проще Христа, она ближе сердцу, в ней нет противоречий, она не грозит геенной — она только любит, жалеет, прощает,— ей легко взять сердце женщины в плен на всю жизнь.

— Но вот он видит девушку, которая умеет говорить, может спрашивать, и всегда в ее вопросах он чувствует, рядом с наивным удивлением перед его идеями, нескрываемое недоверие к нему, а часто — страх и даже отвращение. Пропагандисту-итальянцу приходится много говорить о религии, резко о папе и священниках,— каждый раз, когда он говорил об этом, он видел в глазах девушки презрение и ненависть к нему, если же она спрашивала о чем-нибудь — ее слова звучали враждебно и мягкий голос был насыщен ядом. Заметно было, что она знакома с литературой католиков, направленной против социализма, и что в этом кружке ее слово пользуется не меньшим вниманием, чем его.

— Здесь относятся к женщине значительно упрощеннее и грубее, чем в России, и — до последнего времени — итальянки давали много оснований для этого; не интересуясь ничем, кроме церкви, они — в лучшем случае — чужды культурной работе мужчин и не понимают ее значение.

— Мужское самолюбие его было задето, слава искусного пропагандиста страдала в столкновениях с этой девушкой, он раздражался, несколько раз удачно высмеивал ее, но и она ему платила тем же, невольно возбуждая в нем уважение, заставляя его особенно тщательно готовиться к занятиям с кружком, где была она.

— Но рядом со всем этим он замечал, что каждый раз, когда ему приходится говорить о позорной современности, о том, как она угнетает человека, искажая его тело, его душу, когда он рисовал картины жизни в будущем, где человек станет внешне и внутренне свободен,— он видел ее перед собою другой: она слушала его речи с гневом сильной и умной женщины, знающей тяжесть цепей жизни, с доверчивой жадностью ребенка, который слышит волшебную сказку, и эта сказка в ладу с его, тоже волшебной сложной, душою.

— Это возбуждало в нем предчувствие победы над врагом, который может быть прекрасным товарищем.

— Почти год длилось состязание, не вызывая у них охоты сблизиться и поспорить один на один, но наконец он первый подошел к ней.

— «Синьорина — мой постоянный оппонент,— сказал он,— не находит ли она, что в интересах дела будет лучше, если мы познакомимся ближе?»

— Она охотно согласилась с ним, и почти с первых слов они вступили в бой друг с другом: девушка яростно защищала церковь как место, где замученный человек может отдохнуть душою, где, пред лицом доброй мадонны,— все равны и все равно жалки, несмотря на разность одежды; он возражал, что не отдых нужен людям, а борьба, что невозможно гражданское

равенство без равенства материальных благ и что за спиной мадонны прячется человек, которому выгодно, чтобы люди были несчастны и глупы.

— С того времени эти споры наполнили всю их жизнь, каждая встреча была продолжением одной и той же страстной беседы, и с каждым днем всё более ясно обнаруживалась роковая непримиримость их верований.

— Для него жизнь — борьба за расширение знаний, борьба за подчинение таинственных энергий природы человеческой воле, все люди должны быть равносильно вооружены для этой борьбы, в конце которой нас ожидает свобода и торжество разума — самой могучей из всех сил и единственной силы мира, сознательно действующей. А для нее жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому, подчинением разума той воле, законы и цели которой знает только священник.

— Пораженный, он спрашивал:

— «Но зачем же вы ходите на мои лекции, чего вы ждете от социализма?»

— «Да, я знаю, что грешу и противоречу себе! — грустно сознавалась она. — Но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей!»

— Она была не очень красива — тонкая, с умным личиком, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров; она работала на фабрике шёлка, жила со старухой матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала веселой, не шумно, но обаятельно; любила музеи и старые церкви, восхищалась картинами, красотой вещей и, глядя на них, говорила:

— «Как странно думать, что эти прекрасные вещи когда-то были заперты в домах частных людей и кто-то один имел право пользоваться ими! Красивое должны видеть все, только тогда оно живет!»

— Она часто говорила так странно, и ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе ее, они напоминали стон раненого. Он чувствовал, что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания любовью матери; он терпеливо ждал, когда его вера зажжет ей сердце и тихая любовь преобразится в страсть, ему казалось, что девушка слушает его речи всё внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним. И всё пламеннее он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека,— народа, человечества — из старых цепей, ржавчина которых въелась в души и отемняет, отравляет их.

— Однажды, провожая ее домой, он сказал ей, что любит ее, хочет, чтобы она была его женой, и — был испуган тем впечатлением, которое вызвали в ней его слова: пошатнувшись, точно он ударил ее, широко раскрыв глаза, бледная, она прислонилась спиной к стене, спрятав руки, и, глядя в лицо его, почти с ужасом сказала:

— «Я догадывалась, что это так, я почти чувствовала это, потому что сама давно люблю вас, но — боже мой,— что же будет теперь?»

— «Начнутся дни счастья твоего и моего, дни нашей общей работы!» — воскликнул он.

— «Нет,— сказала девушка, опустив голову.— Нет! Нам не надо говорить о любви».

— «Почему?»

— «Ты станешь венчаться в церкви?» — тихо спросила она.

— «Нет!»

— «Тогда — прощай!»

— И она быстро пошла прочь от него.

— Он догнал ее, стал уговаривать, она выслушала его молча, не возражая, потом сказала:

— «Я, моя мать и отец — все верующие и так умрем. Брак в мэрии — не брак для меня: если от такого брака родятся дети, — я знаю, — они будут несчастны. Только церковный брак освящает любовь, только он дает счастье и покой».

— Ему стало ясно, что она не скоро уступит, он же, конечно, не мог уступить. Они разошлись, прощаясь, девушка сказала:

— «Не станем мучить друг друга, не ищи встреч со мною! Ах, если бы ты уехал отсюда! Я — не могу, я так бедна...»

— «Я не дам никаких обещаний», — ответил он.

— И началась борьба сильных людей: они встречались, конечно, и даже более часто, чем прежде, встречались, потому что искали встреч, надеясь, что один из двух не вытерпит мучений неудовлетворенного и всё разгоравшегося чувства. Их встречи были полны отчаяния и тоски, после каждого свидания с нею он чувствовал себя разбитым и бессильным, она — в слезах шла исповедоваться, а он знал это, и ему казалось, что черная стена людей в тонзурах становится всё выше, несокрушимее с каждым днем, растет и разъединяет их насмерть.

— Однажды в праздник, гуляя с нею в поле за городом, он сказал ей — не угрожая, а просто думая вслух:

— «Знаешь, мне кажется иногда, что я могу убить тебя...»



— Она промолчала.

— «Ты слышала, что я сказал?»

Ласково взглянув в лицо ему, она ответила:

— «Да».

— И он понял, что она умрет, но не уступит ему. До этого «да» он порою обнимал и целовал ее, она боролась с ним, но сопротивление ее слабело, и он мечтал уже, что однажды она

уступит, и тогда ее инстинкт женщины поможет ему победить ее. Но теперь он понял, что это была бы не победа, а порабощение, и с той поры перестал будить в ней женщину.

— Так ходил он с нею в темном круге ее представлений о жизни, зажигал пред нею все огни, какие мог зажечь, но — как слепая — она слушала его с мечтательной улыбкой и не верила ему.

— Однажды она сказала:

— «Я понимаю иногда, что всё, что ты говоришь,— возможно, но я думаю, это потому, что я люблю тебя! Я понимаю, но — не верю, не могу! И когда ты уходишь, всё твое уходит с тобой».

— Это продолжалось почти два года, и вот девушка заболела: он бросил работу, перестал заниматься делами организации, наделал долги, избегая встреч с товарищами, ходил около ее квартиры или сидел у постели ее, наблюдая, как она сгорает, становясь с каждым днем всё прозрачнее, и как всё ярче пылает в глазах ее огонь болезни.

— «Говори мне о будущем»,— просила она его.

— Он говорил о настоящем, мстительно перечисляя всё, что губит нас, против чего он будет всегда бороться, что надо вышвырнуть вон из жизни людей, как темные, грязные, изношенные лохмотья.

— Она слушала и, когда ей было нестерпимо больно, останавливала речь, касаясь его руки и умоляюще глядя в глаза ему.

— «Я — умираю?» — спросила она его однажды, много дней спустя после того, как доктор сказал ему, что у нее скоротечная чахотка и положение ее безнадежно.

— Он не ответил ей, опустив глаза.

— «Я знаю, что скоро умру,— сказала она.— Дай мне руку».

— И, когда он протянул руку ей, она, поцеловав ее горячими губами, сказала:

— «Прости меня, я виновата перед тобою, я ошиблась и измучила тебя. Я вижу теперь, когда убита, что моя вера — только страх пред тем, чего я не могла понять, несмотря на свои желания и твои усилия. Это был страх, но он в крови моей, я с ним рождена. У меня свой — или твой — ум, но чужое сердце, ты прав, я это поняла, но сердце не могло согласиться с тобой...»

— Через несколько дней она умерла, а он поседел за время агонии ее,— поседел в двадцать семь лет.

— Недавно он женился на единственной подруге той девушки, его ученице; это они идут на кладбище, к той,— они каждое воскресенье ходят туда, положить цветы на могилу ее.


— Он не верит в свою победу, убежден, что, говоря ему — «ты прав!» — она лгала, чтобы утешить его. Его жена думает так же, оба они любовно чтят память о ней, и эта тяжелая история гибели хорошего человека, возбуждая их силы желанием отомстить за него, придает их совместной работе неутомимость и особенный, широкий, красивый характер.

...Льется под солнцем живая, празднично пестрая река людей, веселый шум сопровождает ее течение, дети кричат и смеются; не всем, конечно, легко и радостно, наверное, много сердец туго сжаты темной скорбью, много умов истерзаны противоречиями, но — все мы идем к свободе, к свободе!

И чем дружнее — всё быстрее пойдем!



СЛАВА МАТЕРИ!

 прославим женщину — Мать, неиссякаемый источник всё побеждающей жизни!

Здесь пойдет речь о железном Тимур-ленге¹, хромом барсе, о Сахиб-и-Кирани — счастливом завоевателе, о Тамерлане, как назвали его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир.

Пятьдесят лет ходил он по земле, железная

¹ Т и м у р - л е н г — прозвище Тимура (1336—1405), главы одного из монгольских племен, завоевателя Средней Азии, Персии, Индии. Тимур был хром, отсюда его прозвище: Тимур-ленг, то есть Хромой Тимур; Т а м е р - л а н — искаженное Тимур-ленг.

стопа его давила города и государства, как нога слона муравейники, красные реки крови текли от его путей во все стороны; он строил высокие башни из костей побежденных народов; он разрушал жизнь, споря в силе своей со Смертью, он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира; страшный человек — он хотел отнять у нее все жертвы — да издохнет она с голода и тоски!

С того дня, как умер сын его Джигангир, и народ Самарканда¹ встретил победителя злых джеттов² одетый в черное и голубое, посыпав головы свои пылью и пеплом, — с того дня и до часа встречи со Смертью в Отраре³, где она поборола его, — тридцать лет Тимур ни разу не улыбнулся — так жил он, сомкнув губы, ни пред кем не склоняя головы, и сердце его было закрыто для сострадания тридцать лет!

Прославим в мире женщину — Мать, единую силу, пред которой покорно склоняется Смерть! Здесь будет сказана правда о Матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб Смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли.

Вот как это было: пировал Тимур-бек в прекрасной долине Канигула, покрытой облаками роз и жасмина, в долине, которую поэты Самарканда называли «Любовь цветов» и откуда видны голубые минареты великого города, голубые купола мечетей.

Пятнадцать тысяч круглых палаток раскинуто в долине широким веером, все они — как

¹ Самарканд был столицей государства Тимура.

² Джетты — жители древнего городища (крепости) Джеты-Асар в Средней Азии.

³ Отрар — древний город в Средней Азии, на правом берегу реки Сырдарья.

тюльпаны, и над каждой — сотни шелковых флагов трепещут, как живые цветы.

А в середине их — палатка Гуругана-Тимура¹ — как царица среди своих подруг. Она о четырех углах, сто шагов по сторонам, три копы в высоту, ее середина — на двенадцати золотых колоннах в толщину человека, на вершине ее голубой купол, вся она из черных, желтых, голубых полос шелка, пятьсот красных шнуров прикрепили ее к земле, чтобы она не поднялась в небо, четыре серебряных орла по углам ее, а под куполом, в середине палатки, на возвышении, — пятый, сам непобедимый Тимур-Гуруган, царь царей.

На нем широкая одежда из шелка небесного цвета, ее осыпают зерна жемчуга — не больше пяти тысяч крупных зерен, да! На его страшной седой голове белая шапка с рубином на острой верхушке, и качается, качается — сверкает этот кровавый глаз, озирая мир.

Лицо Хромого как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз; его глаза узки, но они видят всё, и блеск их подобен холодному блеску царамута, любимого камня арабов, который неверные зовут изумрудом и который убивает падучую болезнь. А в ушах царя — серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки.

На земле, на коврах, каких больше нет, — триста золотых кувшинов с вином и все, что надо для пира царей; сзади Тимура сидят музыканты, рядом с ним — никого, у ног его — его кровные, цари и князья, и начальники войск, а ближе всех

¹ Гу р у г а н - Т и м у р — царь царей Тимур, одно из прозвищ Тимура.

к нему — пьяный Кермани-поэт¹, тот, который однажды, на вопрос разрушителя мира:

— Кермани! Сколько б ты дал за меня, если б меня продавали? — ответил сеятелю смерти и ужаса:

— Двадцать пять аскеров².

— Но это цена только моего пояса! — вскричал удивленный Тимур.

— Я ведь и думаю только о поясе, — ответил Кермани, — только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша!

Вот как говорил поэт Кермани с царем царей, человеком зла и ужаса, и да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимура.

Прославим поэтов, у которых один бог — красиво сказанное, бесстрашное слово правды, вот кто бог для них — навсегда!

И вот, в час веселья, разгула, гордых воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пестрые шуты, боролись силачи, изгибались канатные плясуны, заставляя думать, что в их телах нет костей, состязаясь в ловкости убивать, фехтовали воины и шло представление со слонами, которых окрасили в красный и зеленый цвета, сделав этим одних — ужасными и смешными — других, — в этот час радости людей Тимура, пьяных от страха пред ним, от гордости славой его, от усталости побед, и вина, и кумыса, — в этот безумный час, вдруг, сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победителя Баязета³-султана долетел крик женщины, гордый

¹ К е р м а н и - п о э т — поэт при дворе Тимура, лицо действительно существовавшее.

² А с к е р — турецкий солдат.

³ Б а я з е т — турецкий султан, пленник Тимура.

крик орлицы, звук, знакомый и родственный его оскорбленной душе, — оскорбленной Смертью и потому жестокой к людям и жизни.

Он приказал узнать, кто там кричит голосом без радости, и ему сказали, что явилась какая-то женщина, она вся в пыли и лохмотьях, она кажется безумной, говорит по-арабски и требует — она требует! — видеть его, повелителя трех стран света.

— Приведите ее! — сказал царь.

И вот пред ним женщина — босая, в лохмотках выцветших на солнце одежд, черные волосы ее были распущены, чтобы прикрыть голую грудь, лицо ее — как бронза, а глаза — повелительны, и темная рука, протянутая Хромому, не дрожала.

— Это ты победил султана Баязета? — спросила она.

— Да, я. Я победил многих и его и еще не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина?

— Слушай! — сказала она. — Что бы ты ни сделал, ты — только человек, а я — Мать! Ты служишь смерти, я — жизни. Ты виноват предо мной, и вот я пришла требовать, чтоб ты искупил свою вину, — мне говорили, что девиз твой — «Сила — в справедливости», — я не верю этому, но ты должен быть справедлив ко мне, потому что я — Мать!

Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать за дерзостью слов силу их, — он сказал:

— Сядь и говори, я хочу слушать тебя!

Она села — как нашла удобным — в тесный круг царей, на ковер, и вот что рассказала она:

— Я — из-под Салерно, это далеко, в Ита-



лии, ты не знаешь где! Мой отец — рыбак, мой муж — тоже, он был красив, как счастливый человек, — это я поила его счастьем! И еще был у меня сын — самый прекрасный мальчик на земле...

— Как мой Джигангир, — тихо сказал старый воин.

— Самый красивый и умный мальчик — это

мой сын! Ему было шесть лет уже, когда к нам на берег явились сарадины-пираты, они убили отца моего, мужа и еще многих, а мальчика похитили, и вот четыре года, как я его ищу на земле. Теперь он у тебя, я это знаю, потому что воины Баязета схватили пиратов, а ты — победил Баязета и отнял у него всё, ты должен знать, где мой сын, должен отдать мне его!

Все засмеялись, и сказали тогда цари — они всегда считают себя мудрыми!

— Она безумна! — сказали цари и друзья Тимура, князя и военачальники его, и все смеялись.

Только Кермани смотрел на женщину серьезно, и с великим удивлением Тамерлан.

— Она безумна, как Мать! — тихо молвил пьяный поэт Кермани; а царь — враг мира — сказал:

— Женщина! Как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса? Почему звери и люди — которые часто злее злейших зверей — не тронули тебя, ведь ты шла, даже не имея оружия, единственного друга беззащитных, который не изменяет им, доколе у них есть сила в руках? Мне надо знать все это, чтобы поверить тебе и чтобы удивление пред тобою не мешало мне понять тебя!

Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке — от лучей солнца и от молока Матери, — вот, что насыщает нас любовью к жизни!

Сказала она Тимур-ленгу:

— Море я встретила только одно, на нем было много островов и рыбацких лодок, а ведь если ищешь любимое — дует попутный ветер.

Реки легко переплыть тому, кто рожден и вырос на берегу моря. Горы? — я не заметила гор.

Пьяный Кермани весело сказал:

— Гора становится долиной, когда любишь!

— Были леса по дороге, да, это — было! Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки, с головой, опущенной к земле, и дважды смотрели на меня барсы, глазами, как твои. Но ведь каждый зверь имеет сердце, я говорила с ними, как с тобой, они верили, что я — Мать, и уходили, вздыхая, — им было жалко меня! Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их не хуже, чем люди?

— Так, женщина! — сказал Тимур. — И часто — я знаю — они любят сильнее, борются упорнее, чем люди!

— Люди, — продолжала она, как дитя, ибо каждая Мать — сто раз дитя в душе своей, — люди — это всегда дети своих матерей, — сказала она, — ведь у каждого есть Мать, каждый чей-то сын, даже и тебя, старик, — ты знаешь это — родила женщина, ты можешь отказаться от бога, но от этого не откажешься и ты, старик!

— Так, женщина! — воскликнул Кермани, бесстрашный поэт. — Так, — от сборища быков — телят не будет, без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без Матери — нет ни поэта, ни героя!

И сказала женщина:

— Отдай мне моего ребенка, потому что я — Мать и люблю его!

Поклонимся женщине — она родила Моисея¹, Магомета и великого пророка Иисуса,

¹ М о и с е й — по древнееврейским преданиям — пророк.

который был умерщвлен злыми, но — как сказал Шерифэддин¹ — он еще воскреснет и придет судить живых и мертвых, в Дамаске это будет, в Дамаске!

Поклонимся Той, которая неутомимо родит нам великих! Аристотель² — сын Ее, и Фирдуси³, и сладкий, как мед, Саади⁴, и Омар Хайям⁵, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер⁶ и слепой Гомер⁷ — это всё Ее дети, все они пили Ее молоко, и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана,— вся гордость мира — от Матерей!

И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур-Гуруган, и долго молчал, а потом сказал ко всем:

— Мен тангри кули Тимур! Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот — жил я, уже много лет земля стонет подо мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этой рукой,— для того уничтожаю, чтобы отомстить ей

¹ Ш е р и ф э д д и н — иранский историк, современник Тимура, написавший историю его жизни и завоеваний.

² А р и с т о т е л ь — философ и ученый Древней Греции (IV век до нашей эры).

³ Ф и р д у с и́, или Ф и р д о у с и́ (934—1027), — таджикский поэт.

⁴ С а а д и́ (1184—1291). — персидский поэт; его поэзия вошла также и в таджикскую литературу.

⁵ О м а́ р Х а й я́ м (1040—1123) — поэт и ученый таджикского народа; его творчество вошло также и в персидскую литературу.

⁶ И с к а н д е́ р — имя «Александр» на восточных языках (турецком, арабском и др.); имеется в виду Александр, царь Македонии (IV век до нашей эры), крупнейший полководец и государственный деятель древнего мира.

⁷ Г о м е́ р — легендарный древнегреческий поэт, который считается творцом поэм «Илиада» и «Одиссея» — величайших произведений литературы древности.

за сына моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего! Боролись со мною за царства и города, но — никто, никогда — за человека, и не имел человек цены в глазах моих, и не знал я — кто он и зачем на пути моем? Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его: «О Баязет, как видно — пред богом ничто государства и люди, смотри — он отдает их во власть таких людей, каковы мы: ты — кривой, я — хром!» Так сказал я ему, когда его привели ко мне в цепях и он не мог стоять под тяжестью их, так сказал я, глядя на него в несчастии, и почувствовал жизнь горькою, как полынь, трава развалин!

— Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот — сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина, — она любит, и любовь помогла ей узнать, что ребенок ее — искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми и герои — слабыми? О Джигангир, огонь моих очей, может быть, тебе — суждено было согреть землю, засеять ее счастьем — я хорошо полил ее кровью, и она стала тучной!

Снова долго думал бич народов и сказал наконец:

— Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Триста всадников отправятся сейчас же во все концы земли моей, и пусть найдут они сына этой женщины, а она будет ждать здесь, и я буду ждать вместе с нею; тот же, кто воротится с ребенком на седле своего коня, он будет счастлив — говорит Тимур! Так, женщина?

Она откинула с лица черные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой:

— Так, царь!

Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей, а веселый поэт Кермани говорил, как дитя, с большой радостью:

Что прекрасней песен о цветах и звездах?

Всякий тотчас скажет: песни о любви!

Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?

И влюбленный скажет: та, кого люблю!

Ах, прекрасны звезды в небе полуночи — знаю!

И прекрасно солнце в ясный полдень лета — знаю!

Очи моей милой всех цветов прекрасней — знаю!

И ее улыбка ласковее солнца — знаю!

Но еще не спета песня всех прекрасней,

Песня о начале всех начал на свете,

Песнь о сердце мира, о волшебном сердце

Той, кого мы, люди, Матерью зовем!

И сказал Тимур-ленг своему поэту:

— Так, Кермани! Не ошибся бог, избрав твои уста для того, чтоб возвещать его мудрость!

— Э! Бог сам — хороший поэт! — молвил пьяный Кермани.

А женщина улыбалась, и улыбались все цари и князья, военачальники и все другие дети, глядя на нее — Мать!

Всё это — правда; все слова здесь — истина, об этом знают наши матери, спросите их, и они скажут:

— Да, все это вечная правда, мы — сильнее смерти, мы, которые непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев, мы, кто сеет в нем всё, чем он славен!



МАТЬ ИЗМЕННИКА

О матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены города множеством красных глаз — они пылали злорадно, и это подстерегающее горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.

Со стен видели, как все теснее сжималась петля врагов, как мелькают вокруг огней их черные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались веселые песни людей, уверенных

в победе, — а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубili сады — город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты¹ врагов осыпали его чугуном и свинцом.

По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая на полуслове речь друг друга, напряженно вслушивались — не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных гор выползали сине-черные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над черными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнуренные трудами и голодом, с каждым днем теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, черные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов — все напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ.

Люди, увидав ее, спрашивали друг друга:

¹ М у ш к е т — старинное ружье крупного размера, стрелявшее при помощи зажженного фитиля.



— Это она?

— Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо нее, а начальники патрулей сурово предупреждали ее:

— Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на нее; вооруженные люди обходили ее, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и черная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя ее, жалобно ползали печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял ее сын, веселый и безжалостный красавец; еще недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рожденную ею в помощь людям города — гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали это сердце с древними камнями, из которых ее предки построили дома и сложили стены города, с землей, где лежали кости ее кровных, с легендами, песнями и надеждами людей — теряло это сердце ближайшего ему человека и плакало: было оно как весы, но, взвешивая в нем любовь к сыну и городу, она не могла понять — что легче, что тяжелей.

Так ходила она ночами по улицам, и многие, не узнавая ее, пугались, принимали черную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая, молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды, в глухом углу, около городской стены, она увидела другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, подняв скорбное лицо к звездам, а на стене, над головой ее, тихо

переговаривались сторожевые и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменника спросила:

— Муж?

— Нет.

— Брат?

— Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот — сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

— Мадонна все видит, все знает, и я благодарю ее!

— За что? — спросила первая, а та ответила ей:

— Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он возбуждал у меня страх: легкомысленный, он слишком любил веселую жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят, и будь проклято чрево, носившее его!..

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром на другой день явилась к защитникам города и сказала:

— Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне ворота, я уйду к нему...

Они ответили:

— Ты — человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для тебя, как и для каждого из нас.

— Я — мать, я его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал.

Тогда они стали советоваться, что сделать с нею, и решили:

— По чести — мы не можем убить тебя за

грех сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница — твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и — вот тебе наказание, если ты находишь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!

— Да! — сказала она. — Это — страшнее.

Они открыли ворота пред нею, выпустили ее из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой ее сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие, — матери ненавидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать ее; удаляясь, она становилась все меньше, а тем, что смотрели на нее со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадежность.

Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили ее, одну среди поля, и, не спеша, осторожно, к ней приближались черные, как она, фигуры.

Подошли и спросили — кто она, куда идет?

— Ваш предводитель — мой сын, — сказала она, и ни один из солдат не усумнился в этом. Шли рядом с нею, хвalebно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их, гордо поднимая голову, и не удивлялась — ее сын таков и должен быть!

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого

она никогда не чувствовала вне своего сердца,— в шелке и бархате пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Все — так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне — богатым, знаменитым и любимым.

— Мать! — говорил он, целуя ее руки.— Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!

— В котором ты родился,— напомнила она.

Опьяненный подвигами своими, обезумевший в жажде еще большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:

— Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город ради тебя — он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь — завтра — я разрушу гнездо упрямцев!

— Где каждый камень знает и помнит тебя ребенком,— сказала она.

— Камни — немые, если человек не заставит их говорить,— пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

— Но — люди? — спросила она.

— О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Она сказала:

— Герой — это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...

— Нет! — возразил он.— Разрушающий так же славен, как и тот, кто созидает города. Посмотри — мы не знаем, Эней¹ или Ромул²

¹ Э н é й — герой Троянской войны, положивший, по преданию, начало Римскому государству.

² Р ó м у л — легендарный основатель Рима.

построили Рим, но — точно известно имя Алариха¹ и других героев, разрушавших этот город.

— Который пережил все имена, — напомнила мать.

Так говорил он с нею до заката солнца, она все реже перебивала его безумные речи, и все ниже опускалась ее гордая голова.

Мать — творит, она — охраняет, и говорить при ней о разрушении — значит говорить против нее, а он не знал этого и отрицал смысл ее жизни.

Мать — всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям — ее сын не видел этого, ослепленный холодным блеском славы, убивающим сердце.

И он не знал, что Мать — зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идет о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.

Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребенка, который теперь хочет разрушать.

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стекла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные свечи, зажглись над ним звезды.

Она видела там, в темных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимание врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов,

¹ А л а р и х — король вестготов, в 410 году захвативший и разграбивший Рим.

подавленного шепота людей, ожидающих смерти,— она видела всё и всех; знакомое и родное стояло близко пред нею, молча ожидая ее решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.

С черных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые кони, летели на город, обреченный смерти.

— Может быть, мы обрушимся на него еще ночью,— говорил ее сын,— если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их — всегда при этом много неверных ударов,— говорил он, рассматривая свой меч.

Мать сказала ему:

— Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребенком и как все любили тебя...

Он послушался, прилег на колени к ней и закрыл глаза, говоря:

— Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть.

— А женщины? — спросила она, наклоняясь над ним.

— Их — много, они быстро надоедают, как все слишком сладкое.

Она спросила его в последний раз:

— И ты не хочешь иметь детей?

— Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьет их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отомстить за них.

— Ты красив, но бесплоден, как молния,— сказала она, вздохнув.

Он ответил, улыбаясь:

— Да, как молния...

И задремал на груди матери, как ребенок.

Тогда она, накрыв его своим черным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер — ведь она хорошо знала, где бьется сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумленной стражи, она сказала в сторону города:

— Человек — я сделала для родины всё, что могла; Мать — я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.

И тот же нож, еще теплый от крови его — ее крови, — она твердой рукой вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце, — если оно болит, в него легко попасть.





ЗАВЕТЫ РЫБАКА



венят цикады¹.
Словно тысячи металлических струн протянуты в густой листве олив², ветер колеблет жесткие листья, они касаются струн, и эти легкие непрерывные прикосновения наполняют воздух жарким, опьяняющим звуком. Это — еще не музыка, но кажется, что невидимые руки настраивают сотни невидимых арф, и все время напряженно ждешь, что вот наступит момент молчания, а потом мощно грянет струнный гимн солнцу, небу и морю.

¹ Цикáда — насекомое, издающее стрекотание.

² Оли́ва — маслина, вечнозеленое дерево.

Дует ветер, деревья качаются и точно идут с горы к морю, встряхивая вершинами. О прибрежные камни равномерно и глухо бьет волна; море — все в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опустились на его синюю равнину, все они плывут в одном направлении, исчезают, ныряя в глубину, снова являются и звенят чуть слышно. И, словно увлекая их за собою, на горизонте качаются, высоко подняв трехъярусные паруса, два судна, тоже подобные серым птицам; все это — напоминая давний, полузабытый сон — не похоже на жизнь.

— К ночи разыграется крепкий ветер! — говорит старый рыбак, сидя в тени камней, на маленьком пляже, усеянном звонкой галькой.

Прибой набросал на камни волокна пахучей морской травы — рыжей, золотистой и зеленой; трава вянет на солнце и горячих камнях, соленый воздух насыщен терпким запахом йода. На пляж одна за другой вбегают кудрявые волны.

Старый рыбак похож на птицу — маленькое стиснутое лицо, горбатый нос и невидимые в темных складках кожи, круглые, должно быть, очень зоркие глаза. Пальцы рук крючковаты, малоподвижны и сухи.

— Полсотни лет тому назад, синьор, — говорит старик, в тон шороху волн и звону цикад, — был однажды вот такой же веселый и звучный день, когда все смеется и поет. Моему отцу было сорок, мне — шестнадцать, и я был влюблен, это — неизбежно в шестнадцать лет и при хорошем солнце.

— «Поедем, Гвидо, за пеццони», — сказал отец. — Пеццони, синьор, очень тонкая и вкусная рыба с розовыми плавниками, ее называют также коралловой рыбой, потому что она водится

там, где есть кораллы, очень глубоко. Ее ловят, стоя на якоре, крючком с тяжелым грузилом. Красивая рыба.

— И мы поехали, ничего не ожидая, кроме хорошей удачи. Мой отец был сильный человек, опытный рыбак, но незадолго перед этим он хворал — болела грудь, и пальцы рук у него были испорчены ревматизмом — болезнь рыбаков.

— Это очень хитрый и злой ветер, вот этот, который так ласково дует на нас с берега, точно тихонько толкая в море, — там он подходит к вам незаметно и вдруг бросается на вас, точно вы оскорбили его. Барка тотчас сорвана и летит по ветру, иногда вверх килем, а вы — в воде. Это случается в одну минуту, вы не успеете выругаться или помянуть имя божие, как вас уже кружит, гонит вдаль. Разбойник честнее этого ветра. Впрочем — люди всегда честнее стихии.

— Да, так вот этот ветер и ударил нас в четырех километрах от берега — совсем близко, как видите, ударил неожиданно, как трус и подлец.

— «Гвидо! — сказал родитель, хватая весла изуродованными руками.— Держись, Гвидо! Живо — якорь!»

— Но пока я выбирал якорь, отец получил удар веслом в грудь — вырвало весла из рук у него — он свалился на дно без памяти. Мне некогда было помочь ему, каждую секунду нас могло опрокинуть. Сначала — все делается быстро: когда я сел на весла — мы уже неслись куда-то, окруженные водной пылью, ветер срывал верхушки волн и кропил нас, точно священник, только с лучшим усердием и совсем не для того, чтобы смыть наши грехи.

— «Это серьезно, сын мой! — сказал отец, придя в себя и взглянув в сторону берега.— Это — надолго, дорогой мой».

— Если молод — не легко веришь в опасность, я пытался грести, делал все, что надо делать в воде в опасную минуту, когда этот ветер — дыхание злых дьяволов — любезно роет вам тысячи могил и бесплатно поет реквием¹.

— «Сиди смирно, Гвидо,— сказал отец, усмехаясь и стряхивая воду с головы.— Какая польза ковырять море спичками? Береги силу, иначе тебя напрасно станут ждать дома».

— Бросают зеленые волны нашу маленькую лодку, как дети мяч, заглядывают к нам через борта, поднимаются над головами, ревут, трясут, мы падаем в глубокие ямы, поднимаемся на белые хребты — а берег убегает от нас все дальше и тоже пляшет, как наша барка. Тогда отец говорит мне:

— «Ты, может быть, вернешься на землю, я — нет! Послушай, что я буду говорить тебе о рыбе и работе...»

— И он стал рассказывать мне все, что знал о привычках тех и других рыб,— где, когда и как успешнее ловить их.

— «Может быть, нам лучше помолиться, отец?» — предложил я, когда понял, что дела наши плохи: мы были точно пара кроликов в стае белых псов, отовсюду скаливших зубы на нас.

— «Бог видит всё! — сказал он.— Ему известно, что вот люди, созданные для земли, погибают в море и что один из них, не надеясь на спасение, должен передать сыну то, что он

¹ Р é к в и е м — богослужение по умершим у католиков; траурное музыкальное произведение.

знает. Работа нужна земле и людям — бог понимает это...»

— И, рассказав мне все, что знал о работе, отец стал говорить о том, как надо жить с людьми.

— «Время ли теперь учить меня? — сказал я.— На земле ты не делал этого!»

— «На земле я не чувствовал смерть так близко».

— Ветер выл, как зверь, и плескали волны — отцу приходилось кричать, чтобы я слышал, и он кричал:

— «Всегда держись так, как будто никого нет лучше тебя и нет никого хуже,— это будет верно! Дворянин и рыбак, священник и солдат — одно тело, и ты такой же необходимый член его, как все другие. Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего,— думай, что хорошего больше в нем,— так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них».

— Это, конечно, было сказано не сразу, а так, знаете, точно команда: нас бросало с волны на волну, и то снизу, то сверху, сквозь брызги воды я слышал эти слова. Многое уносил ветер раньше, чем оно доходило до меня, многого я не мог понять — время ли учиться, синьор, когда каждая минута грозит смертью! Мне было страшно, я первый раз видел море таким бешеным и чувствовал себя столь бессильным в нем. И я не могу сказать — тогда или после, вспоминая об этих часах, я испытал чувство, которое и по сей день живо в памяти моего сердца.

— Как теперь вижу родителя: он сидит на дне барки, раскинув больные руки, вцепившись в борта пальцами, шляпу смыло с него, волны кидаются на голову и на плечи ему то справа,

то слева, бьют сзади и спереди, он встряхивает головою, фыркает и время от времени кричит мне. Мокрый он стал маленьким, а глаза у него огромные от страха, а может быть, от боли. Я думаю — от боли.

— «Слушай! — кричал мне. — Эй — слышишь?»

— Иногда я отвечал ему:

— «Слышу!»

— «Помни — все хорошее от человека».

— «Ладно!» — отвечаю я.

— Никогда он не говорил так со мною на земле. Был веселый, добрый, но мне казалось, что он смотрит на меня насмешливо и недоверчиво, что я для него еще ребенок. Иногда это обижало меня — юность самолюбива.

— Его крики укрощали мой страх, должно быть, поэтому я так хорошо помню всё.

Старик рыбак помолчал, поглядел в белое море, улыбнулся и сказал, подмигнув:

— Приглядевшись к людям, я знаю, синьор, помнить — это всё равно, что понимать, а чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего, — уж это так, поверьте!

— Да, так вот — помню я его милое мне мокрое лицо и огромные глаза — смотрели раз на меня серьезно, с любовью, и так, что я знал тогда — мне суждено погибнуть не в этот день. Боялся, но знал, что не погибну.

— Нас, конечно, опрокинуло. Вот — мы оба в кипящей воде, в пене, которая ослепляет нас, волны бросают наши тела, бьют их о киль барки. Мы еще раньше привязали к банкам¹ всё, что можно было привязать, у нас в руках веревки, мы не оторвемся от нашей барки, пока есть сила,

¹ Б а н к а — здесь: скамейка для гребцов в лодке.



но — держаться на воде трудно. Несколько раз он или я были взброшены на киль и тотчас смыты с него. Самое главное тут в том, что кружится голова, глоснешь и слепнешь — глаза и уши залиты водой, и очень много глотаешь ее.

— Это тянулось долго — часов семь, потом ветер сразу переменился, густо хлынул к берегу,

и нас понесло к земле. Тут я обрадовался, закричал:

— «Держись!»

— Отец тоже кричал что-то, я понял одно слово:

— «Разобьет...»

— Он думал о камнях, они были еще далеко, я не поверил ему. Но он лучше меня знал дело, — мы неслись среди гор воды, присосавшись, точно улитки, к нашей кормилице, порядочно избитые об нее, уже обессиленные и онемевшие. Это длилось долго, но когда стали видны темные горы берега — все пошло с невыразимой быстротой. Качаясь, они подвигались к нам, наклонялись над водой, готовые опрокинуться на головы наши, — раз, раз — подкидывают белые волны наши тела, хрустит наша барка, точно орех под каблуком сапога, я оторван от нее, вижу изломанные черные ребра скал, острые, как ножи, вижу голову отца высоко надо мною, потом — над этими когтями дьяволов. Его поймали часа через два, с переломанной спиной и разбитым до мозга черепом. Рана на голове была огромная, часть мозга вымыло из нее, но я помню серые, с красными жилками, кусочки в ране, точно мрамор или пена с кровью. Изуродован был он ужасно, весь изломан, но лицо — чисто, спокойно, и глаза хорошо, плотно закрыты.

— Я? Да, я тоже был порядочно измят, на берег меня втащили без памяти. Нас принесло к материку, за Амальфи — чужое место, но, конечно, свои люди — тоже рыбаки, такие случаи их не удивляют, но делают добрыми: люди, которые ведут опасную жизнь, всегда добры!

— Я думаю, что не сумел рассказать про отца так, как чувствую, и то, что пятьдесят один

год держу в сердце,— это требует особенных слов, даже, может быть, песни, но — мы люди простые, как рыбы, и не умеем говорить так красиво, как хотелось бы! Чувствуешь и знаешь всегда больше, чем можешь сказать.

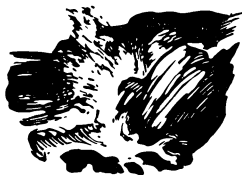
— Тут все дело в том, что он, мой отец, в час смерти, зная, что ему не избежать ее, не испугался, не забыл обо мне, своем сыне, и нашел силу и время передать мне все, что он считал важным. Шестьдесят семь лет прожил я и могу сказать, что все, что он внушил мне,— верно!

Старик снял свой вязаный колпак, когда-то красный, теперь бурый, достал из него трубку и, наклонив голый, бронзовый череп, сильно сказал:

— Все верно, дорогой синьор! Люди таковы, какими вы хотите видеть их, смотрите на них добрыми глазами, и вам будет хорошо, им — тоже, от этого они станут еще лучше, вы — тоже! Это — просто!

Ветер становился все крепче, волны выше, острее и белей; выросли птицы на море, они всё торопливее плывут вдаль, а два корабля с трех ярусными парусами уже исчезли за синей полосой горизонта.

Крутые берега острова в пене волн, буяня, плещет синяя вода, и неутомимо, страстно звенят цикады.





КАК ДЖИОВАННИ СТАЛ СОЦИАЛИСТОМ

Удвери белой кантины¹, спрятанной среди толстых лоз старого виноградника, под тенью навеса из этих же лоз, переплетенных вьюнком и мелкой китайской розой, сидят у стола, за графином вина, Винченцо, маляр, и Джiovанни, слесарь. Маляр — маленький, костлявый, черный; в его темных глазах светится задумчивая мягкая улыбка мечтателя; хотя его верхняя губа и щеки выбриты досия — лицо, от этой улыбки, кажется детским и наивным. У него маленький, красивый рот, точно у девушки, кисти рук — длинные, он вер-

¹ К а н т и н а — винный погребок.

тит в живых пальцах золотой цветок розы и, прижимая его к пухлым губам, закрывает глаза.

— Может быть — я не знаю — может быть! — тихо говорит он, покачивая сжатой с висков головою, рыжеватые локоны осыпаются на его высокий лоб.

— Да, да! Чем дальше на север, тем настойчивее люди! — утверждает Джиованни, большеголовый, широкоплечий парень, в черных кудрях; лицо у него медно-красное, нос обожжен солнцем и покрыт белой чешуей омертвевшей кожи; глаза — большие, добрые, как у вола, и на левой руке нет большого пальца. Его речь так же медленна, как движения рук, пропитанных маслом и железной пылью. Сжимая стакан вина в темных пальцах, с обломанными ногтями, он продолжает басом:

— Милан, Турин — вот превосходные мастерские, где формируются новые люди, растет новый мозг! Подожди немного — земля станет честной и умной!

— Да! — сказал маленький маляр, подняв стакан, и, ловя вином солнечный луч, напевает:

О, как тепла земля на утре наших дней!

Но — возмужали мы, — и холодно на ней!

— Чем дальше на север, говорю я, тем лучше работа. Уже французы живут не так лениво, как мы, дальше — немцы и, наконец, русские — вот люди!

— Да!

— Бесправные, под страхом лишиться свободы и жизни, они сделали грандиозное дело¹ — ведь это благодаря им вспыхнул к жизни весь восток!

¹ Имеется в виду революция 1905—1907 годов в России.

— Страна героев! — склоняя голову, сказал маляр. — Я бы хотел жить с ними...

— Ты? — воскликнул слесарь, ударив по своему колену ребром ладони. — Кусочком льда был бы ты там через неделю!

Оба добродушно засмеялись.

Синие и золотые цветы вокруг них, ленты солнечных лучей дрожат в воздухе, в прозрачном стекле графина и стаканов горит альмандиновое¹ вино, издали доплывает шелковый шорох моря.

— Вот, добрый мой Винченцо, — говорит слесарь, широко улыбаясь, — расскажи стихами, как я стал социалистом, — ты знаешь это?

— Нет, — сказал маляр, наливая в стаканы вино и улыбаясь красной струе, — ты никогда не говорил об этом. Эта кожа так хорошо сидит на твоих костях, что я думал — ты родился в ней!

— Я родился голым и глупым, как ты и все люди; в юности я мечтал о богатой жене, в солдатах — учился, чтобы сдать экзамен на офицерский чин, мне было двадцать три года, когда я почувствовал, что не все на свете хорошо и жить дураком — стыдно!

Маляр облокотился на стол, а голову вскинул вверх и стал смотреть на гору, где на самом обрыве стоят, качая ветвями, огромные сосны.

— Нас — мою роту — послали в Болонью; там волновались крестьяне, одни — требуя понижения арендной платы, другие — кричали о необходимости повысить заработную плату, те и другие казались мне неправыми: понизить аренду за землю, поднять рабочую плату — что за

¹ А л ь м а н д и н — драгоценный камень кроваво-красного цвета с фиолетовым оттенком.

глупости! — думал я, — ведь это разорит землевладельцев... Мне, жителю города, это казалось вздором и бессмыслицей. И я очень сердился, чему помогала жара, постоянные передвижения с места на место, караульная служба по ночам, — эти молодцы, видишь ли, ломали машины помещиков, а также им нравилось жечь хлеб и портить все, принадлежавшее не им.

Он выпил вино маленькими глотками и, оживляясь все более, продолжал:

— Они ходили по полям густыми толпами, точно овцы, но — молча, грозно, деловито, мы разгоняли их, показывая штыки, иногда — толкая прикладами, они, не пугаясь и не торопясь, разбегались, собирались снова. Это было скучно, как обедня, и тянулось изо дня в день, точно лихорадка. Луото, наш унтер, славный парень, абруцезец¹, тоже крестьянин, мучился: пожелтел, похудел и не однажды говорил нам:

— «Очень скверно, дети мои! Вероятно, придется стрелять, будь я проклят!»

— Его карканье еще больше расстраивало нас, а тут, знаешь, из-за каждого угла, холма и дерева торчат упрямые головы крестьян, шупают тебя их сердитые глаза, — люди эти относились к нам, конечно, не очень приветливо.

— Пей! — сказал маленький Винченцо, ласково подвигая приятелю полный стакан.

— Благодарю и — да здравствуют стойкие люди! — воскликнул слесарь, выпил, вытер ладонью усы и продолжал:

— Однажды я стоял на небольшом холме, у рощи олив, охраняя деревья, потому что крестьяне портили их, а под холмом работали

¹ А б р у ц э з е ц — житель Абрúццы, горного района в Средней Италии.

двое — старик и юноша, рыли какую-то канаву. Жарко, солнце печет, как огнем, хочется быть рыбой, скучно, и, помню, я смотрел на этих людей очень сердито. В полдень они, бросив работу, достали хлеб, сыр, кувшин вина,— черт бы вас побрал, думаю я. Вдруг старик, ни разу не взглянувший на меня до этой поры, что-то сказал юноше, тот отрицательно тряхнул головою, а старик крикнул:

— «Иди!» — Очень строго крикнул.

— Юноша идет ко мне с кувшином в руке, подошел и говорит так, знаешь, не очень охотно:

— «Отец мой думает, что вы хотите пить, и предлагает вам вина!»

— Было неловко, но — приятно, я отказался, кивнув старику головой и благодаря его, а он отвечает мне, поглядывая в небо:

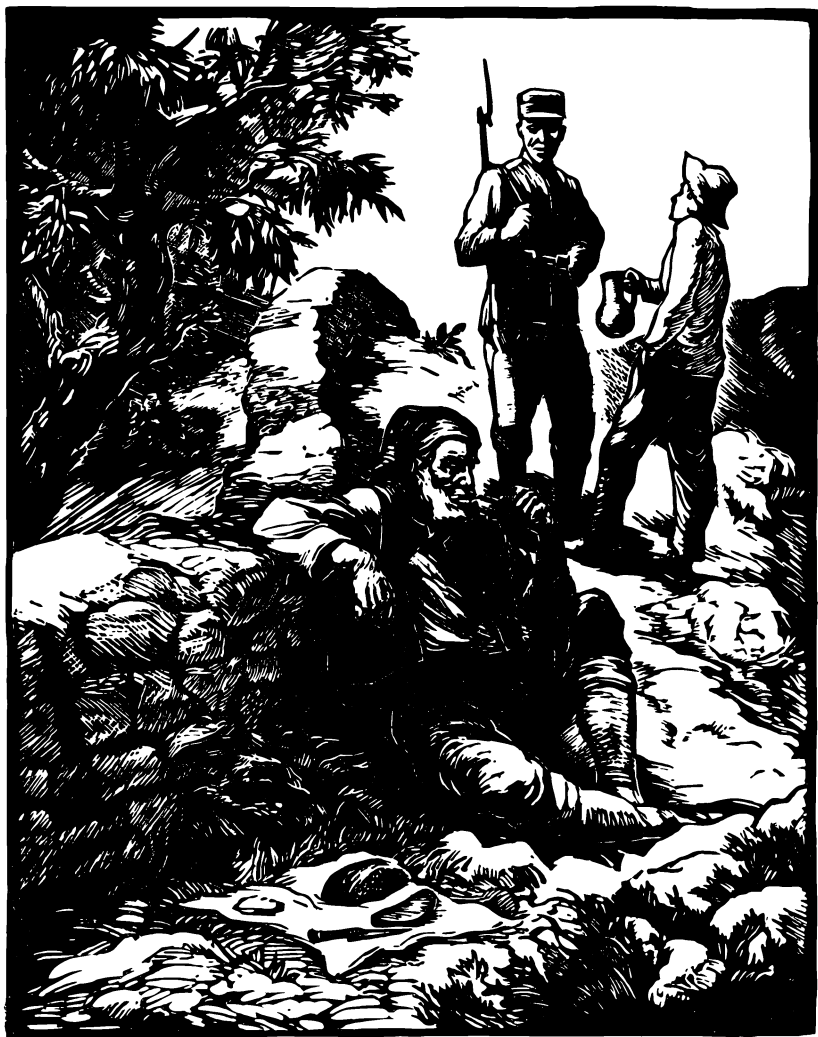
— «Выпейте, синьор, выпейте! Мы предлагаем это человеку, а не солдату, мы не надеемся, что солдат будет добрее от нашего вина».

— «Не кусайся, черт тебя побери!» — подумал я и, выпив глотка три, поблагодарил, а они, там, внизу, начали есть; потом скоро я сменился — на мое место встал Уго, салертинец¹, и я сказал ему тихонько, что эти двое крестьян — добрые люди. В тот же день вечером, когда я стоял у дверей сарая, где хранились машины, с крыши, на голову мне, упала черепица — по голове ударило не сильно, но другая очень крепко — ребром по плечу, так, что левая рука у меня повисла.

Слесарь захохотал, широко открыв рот и прищурился глазами.

— Черепицы, камни, палки,— говорил он

¹ С а л е р т и н е ц — житель Салерно, города на юге Италии.



сквозь смех, — в те дни и в том месте действовали самостоятельно, и эта самостоятельность неодушевленных предметов сажала нам довольно крупные шишки на головы. Идет или стоит солдат — вдруг с земли прыгает на него палка, с небес падает камень. Мы сердились, конечно!

Глаза маленького маляра стали грустные, лицо побледнело, он сказал тихонько:

— Всегда стыдно слушать о таких вещах...

— Что поделаешь! Люди медленно умнеют. Далее: я позвал на помощь, меня отвели в дом, где уже лежал один, раненный камнем в лицо, и, когда я спросил его — как это случилось с ним, он сказал, невесело посмеиваясь:

— «Старуха, товарищ, старая седая ведьма ударила и предлагает — убить ее!»

— «Арестовали?»

— «Я сказал, что это сам я — упал и ударился. Командир не поверил, это было видно по его глазам. Но, согласись, неловко сознаться, что ранен старухой! Дьявол! Им туго приходится, и понятно, что они не любят нас».

— «Так!» — думаю я. Приходит доктор и две дамы — одна очень красивая, блондинка, очевидно — венецианка, другая — не помню ее. Осматривают мой ушиб, конечно — пустяки, положили мне компресс и ушли.

Слесарь нахмурился, замолчал и крепко потер руки; его товарищ снова налил вина в стаканы, — наливая, он высоко поднимал графин, и вино трепетало в воздухе красной живой струей.

— Мы оба сели у окна, — угрюмо продолжал слесарь, — сели так, чтобы нас не видело солнце, и вот слышим нежный голосок блондинки этой — она с подругой и доктором идет по саду, за окном, и говорит на французском языке, который я хорошо понимаю.

— «Вы заметили, какие у него глаза? — говорит она. — Он, разумеется, тоже крестьянин и, может быть, сняв мундир, тоже будет социалистом, как все у нас. И вот, люди с такими глазами хотят завоевать весь мир, перестроить

всю жизнь, изгнать нас, уничтожить, всё для того, чтобы торжествовала какая-то слепая, скучная справедливость!»

— «Глупые ребята,— сказал доктор,— полудети, полузвери!»

— «Звери — да! Но — что в них детского?»

— «А эти мечты о всеобщем равенстве...»

— «Вы подумайте,— я равна этому парню, с глазами вола, и другому, с птичьим лицом, мы все — вы, я и она — мы равны им, этим людям дурной крови! Людям, которых можно приглашать для того, чтобы они били подобных им, таких же зверей, как они...»

— Она говорила очень много и горячо, а я слушал и думал: «Так, синьора!» Я видел ее не в первый раз, и ты, конечно, знаешь, что никто не мечтает о женщине горячее, чем солдат. Разумеется, я представлял ее себе доброй, умной, с хорошим сердцем, и в то время мне казалось, что дворяне — особенно умны.

— Спрашиваю товарища: «Ты понимаешь этот язык?» Нет, он не понимал. Тогда я передал ему речь блондинки — парень рассердился, как черт, и запрыгал по комнате, сверкая глазом,— один глаз у него был завязан.

— «Вот как! — бормочет он.— Вот как! Она пользуется мной и — не считает меня человеком! Я ради нее позволяю оскорблять мое достоинство, и она же отрицает его! Ради сохранности ее имущества я рискую погубить душу...»

— Он был неглупый малый и почувствовал себя глубоко оскорбленным, я — тоже. И на другой же день мы с ним уже говорили об этой даме громко, не стесняясь. Луото только мычал и советовал нам:

— «Осторожнее, дети мои! Не забывайте, что вы — солдаты и существует дисциплина!»

— Нет, мы это не забыли. Но очень многие — почти все, говоря правду,— стали глухи и слепы, а эти молодцы крестьяне весьма умело пользовались нашей глухотой и слепотой. Они — выиграли. Они очень хорошо относились к нам; блондинке можно бы многому поучиться у них, например — они прекрасно научили бы ее, как надо ценить честных людей. Когда мы уходили оттуда, куда пришли с намерением пролить кровь, многие из нас получили цветы. Когда мы шли по улицам деревни — в нас бросали уже не камнями и черепицей, а цветами, друг мой! Я думаю, что мы заслужили это. О дурной встрече можно забыть, получив хорошие проводы!

Он засмеялся, потом сказал:

— Вот это ты должен превратить в стихи, Винченцо...

Маяр, задумчиво улыбаясь, ответил:

— Да, это очень годится для поэмы! Я думаю, что сумею сделать ее. Когда человеку минет двадцать пять лет — он становится плохим лириком.

Он отбросил цветок, уже измятый, сорвал другой и оглянулся, тихо продолжая:

— Пройдя путь от груди матери на грудь возлюбленной, человек должен идти дальше, к другому счастью...

Слесарь молчал, колыхая вино в стакане. Мягко шумит море, там, внизу, за виноградниками, запах цветов плывет в жарком воздухе.

— Это солнце делает нас слишком ленивыми, слишком мягкими,— бормотал слесарь.

— Мне уже плохо удаются лирические стихи, я очень недоволен собою,— тихо говорит Винченцо, сдвигая тонкие брови.

— Ты сделал что-нибудь?

Маляр не сразу говорит:

— Да, вчера, на крыше отеля «Комо».

И читает вполголоса, задумчиво, певуче:

На берег пустынный, на старые серые камни

Осеннее солнце прощально и нежно упало.

На темные камни бросаются жадные волны

И солнце смывают в холодное синее море.

И медные листья деревьев, оборваны ветром осенним

Мелькают сквозь пену прибоя, как пестрые мертвые птицы

А бледное небо — печально, и гневное море — угрюмо

Одно только солнце смеется, склоняясь покорно к закату

Оба долго молчат; маляр, опустив голову, смотрит в землю, большой, тяжелый слесарь улыбается и наконец говорит:

— Обо всем можно сказать красиво, но лучше всего — слово о хорошем человеке, песня о хороших людях!





ЖИЗНЬ — ПРЕКРАСНА!

За железный столик у двери ресторана сел человек в светлом костюме, сухой и бритый, точно американец, — сел и лениво поет:

— Га-агсон-н...

Всё вокруг густо усеяно цветами акации — белыми и точно золото: всюду блестят лучи солнца, на земле и в небе — тихое веселье весны. Посредине улицы, шелкая копытами, бегут маленькие ослики, с мохнатыми ушами, медленно шагают тяжелые лошади, не торопясь, идут люди, — ясно видишь, что всему живому хочется как можно дольше побыть на солнце, на воздухе, полном медового запаха цветов.

Мелькают дети — герольды весны, солнце раскрашивает их одежки в яркие цвета; покачиваясь, плывут пестро одетые женщины, — они так же необходимы в солнечный день, как звезды ночью.

Человек в светлом костюме имеет странный вид: кажется, что он был сильно грязен и только сегодня его вымыли, но так усердно, что уж навсегда стерли с него всё яркое. Он смотрит вокруг полинявшими глазами, словно считая пятна солнца на стенах домов и на всем, что движется по темной дороге, по широким плитам бульвара. Его вялые губы сложены цветком, он тихо и тщательно высвистывает странный и печальный мотив, длинные пальцы белой руки барабанят по гулкому краю стола — тускло поблескивают ногти, — а в другой руке желтая перчатка, он отбивает ею на колене такт. У него лицо человека умного и решительного — так жаль, что оно стерто чем-то грубым, тяжелым.

Почтительно поклонясь, гарсон ставит перед ним чашку кофе, маленькую бутылочку зеленого ликера и бисквиты, а за столиком рядом — садится широкогрудый человек с агатовыми глазами, — щеки, шея, руки его закопчены дымом, весь он — угловат, металлически крепок, точно часть какой-то большой машины.

Когда глаза чистого человека устало останавливаются на нем, он, чуть приподнявшись, дотронулся рукою до шляпы и сказал, сквозь густые усы:

- Добрый день, господин инженер.
- Да, снова вы, Трама!
- Да, это я, господин инженер...
- Нужно ждать событий, а?
- Как идет ваша работа?

Инженер сказал, с маленькой усмешкой на тонких губах:

— Мне кажется — нельзя беседовать одними вопросами, мой друг...

А его собеседник, сдвинув шляпу на ухо, открыто и громко смеется и сквозь смех говорит:

— О да! Но, честное слово, так хочется знать...

Пегий, шершавый ослик, запряженный в тележку с углем, остановился, вытянул шею и — прискорбно закричал, но, должно быть, ему не понравился свой голос в этот день, — сконфуженно оборвав крик на высокой ноте, он встряхнул мохнатыми ушами и, опустив голову, побежал дальше, цокая копытами.

— Я жду вашу машину с таким же нетерпением, как ждал бы новую книгу, которая обещает сделать меня умней...

Инженер сказал, прихлебывая кофе:

— Не совсем понимаю сравнение...

— Разве вы не думаете, что машина так же освобождает физическую энергию человека, как хорошая книга его дух?

— А! — сказал инженер, дернув головой вверх. — Так!

И спросил, ставя на стол пустую чашку:

— Вы, конечно, начнете агитацию?

— Я уже начал...

— Снова — стачки, беспорядки, да?

Тот пожал плечами, мягко улыбаясь.

— Если б можно было без этого...

Старуха в черном платье, суровая, точно монахиня, молча предложила инженеру букетик фиалок, он взял два и один протянул собеседнику, задумчиво говоря:

— У вас, Трама, такой хороший мозг, и, право, жаль, что вы — идеалист...

— Благодарю за цветы и комплимент. Вы сказали — жаль?

— Да! Вы, в сущности, поэт, и вам надо учиться, чтобы стать дельным инженером...

Трама, тихонько смеясь, обнажая белые зубы, говорил:

— О, это верно! Инженер — поэт, я убедился в этом, работая с вами...

— Вы — любезный человек...

— И я думал — отчего бы господину инженеру не сделаться социалистом? Социалисту тоже надо быть поэтом...

Они засмеялись, оба одинаково умно глядя друг на друга, удивительно разные, один — сухой, нервный, стертый, с выцветшими глазами, другой — точно вчера выкован и еще не отшлифован.

— Нет, Трама, я предпочел бы иметь свою мастерскую и десятка три вот таких молодцов, как вы. Ого, тут мы сделали бы кое-что...

Он тихонько ударил пальцами по столу и вздохнул, вдевая в петлицу цветы.

— Черт возьми, — возбуждаясь, вскричал Трама, — какие пустяки мешают жить и работать...

— Это вы историю человечества называете пустяками, мастер Трама? — тонко улыбаясь, спросил инженер; рабочий сдернул шляпу, взмахнул ею и заговорил, горячо и живо:

— Э, что такое история моих предков?

— Ваших предков? — переспросил инженер, подчеркнув первое слово еще более острой улыбкой.

— Да, моих! Это — дерзость? Пусть будет дерзость! Но — почему Джордано Бруно, Вико и Мадзини не предки мои — разве я живу не

в их мире, разве я не пользуюсь тем, что посеяли вокруг меня их великие умы?

— А, в этом смысле!

— Всё, что дано миру отошедшими из него,— дано мне!

— Конечно,— сказал инженер, серьезно сдвинув брови.

— И всё, что сделано до меня — до нас,— руда, которую мы должны сделать сталью,— не правда ли?

— Почему — нет? Это — ясно!

— Ведь и вы, ученые, как мы, рабочие,— вы живете за счет работы умов прошлого.

— Я не спорю,— сказал инженер, склоняя голову; около него стоял мальчик в серых лохмотьях, маленький, точно мяч, разбитый игрою; держа в грязных лапах букетик крокусов, он настойчиво говорил:

— Возьмите у меня цветов, синьор...

— Я уже имею...

— Цветов никогда не бывает достаточно...

— Bravo, малыш! — сказал Трама.— Bravo, и мне дай два...

А когда мальчишка дал ему цветы, он, приподняв шляпу, предложил инженеру:

— Угодно?

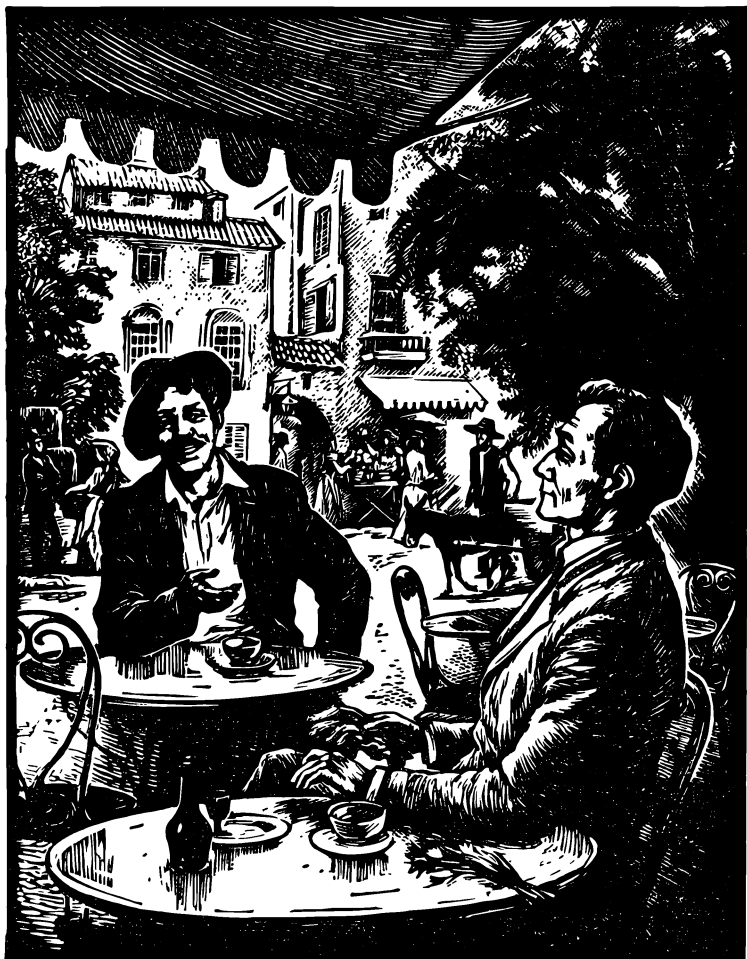
— Благодарю.

— Чудесный день, не правда ли?

— Это чувствуешь даже в мои пятьдесят лет...

Он задумчиво оглянулся, прищурил глаза, потом — вздохнул.

— Вы, я думаю, должны особенно сильно чувствовать игру весеннего солнца в жилах, это не потому только, что вы молоды, но — как я вижу — весь мир для вас — иной, чем для меня, да?



— Не знаю,— сказал тот, усмехаясь,— но жизнь — прекрасна!

— Своими обещаниями? — скептически спросил инженер, и этот вопрос как бы задел его собеседника,— надев шляпу, он быстро сказал:

— Жизнь прекрасна всем, что мне нравится в ней! Чёрт побери, дорогой мой инженер, для меня слова не только звуки и буквы,— когда

я читаю книгу, вижу картину, любуюсь прекрасным,— я чувствую себя так, как будто сам сделал всё это!

Оба засмеялись, один — громко и открыто, точно хвастаясь своим уменьем хохотать, откинув голову назад, выпятив широкую грудь, другой — почти беззвучно, всхлипывающим смехом, обнажая зубы, в которых завязло золото, словно он недавно жевал его и забыл почистить зеленые кости зубов.

— Вы — brave парень, Трама, вас всегда приятно видеть,— сказал инженер и, подмигнув, добавил: — Если только вы не бунтуете...

— О, я всегда бунтую...

И, скорчив серьезную мину, прищурился бездонными черными глазами, он спросил:

— Надеюсь — мы тогда вели себя вполне корректно?

Пожав плечами, инженер встал.

— О да. Да! Эта история — вы знаете? — стоила предприятию тридцать семь тысяч лир...

— Было бы благоразумнее включить их в заработную плату...

— Гм! Вы — плохо считаете. Благоразумие? Оно свое у каждого зверя.

Он протянул сухую желтую руку и, когда рабочий пожимал ее, сказал:

— Я все-таки повторяю, что вам следует учиться и учиться...

— Каждую минуту я учусь...

— Из вас выработался бы инженер с доброй фантазией.

— Э, фантазия не мешает мне жить и теперь...

— До свидания, упрямец...

Инженер пошел под акациями, сквозь сеть солнечных лучей, шагая медленно длинными,

сухими ногами, тщательно натягивая перчатку на тонкие пальцы правой руки,— маленький, досиня черный гарсон отошел от двери ресторана, где он слушал эту беседу, и сказал рабочему, который рылся в кошельке, доставая медные монеты:

— Сильно стареет наш знаменитый...

— Он еще постоит за себя! — уверенно воскликнул рабочий.— У него много огня под черепом...

— Где будете вы говорить в следующий раз?

— Там же, на бирже труда. Вы слышали меня?

— Трижды, товарищ...

Крепко пожав друг другу руки, они с улыбкой расстались; один пошел в сторону, противоположную той, куда скрылся инженер, другой — задумчиво напевая, стал убирать посуду со столов.

Группа школьников в белых передниках — мальчики и девочки маршируют посредине дороги, от них искрами разлетается шум и смех, передние двое громко трубят в трубы, свернутые из бумаги, акации тихо осыпают их снегом белых лепестков. Всегда — а весной особенно жадно — смотришь на детей и хочется кричать вслед им, весело и громко:

— Эй, вы, люди! Да здравствует ваше будущее!





СТАРЫЙ ЧЕККО И ЕГО СЫНОВЬЯ

В священной тишине восходит солнце, и от камней острова поднимается в небо сизый туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов дрока.

Остров, среди темной равнины сонных вод, под бледным куполом неба, подобен жертвеннику пред лицом бога-солнца.

Только что погасли звезды, но еще блестит белая Венера, одиноко утопая в холодной высоте мутного неба, над прозрачною грядю перистых облаков; облака чуть окрашены в розоватые краски и тихо сгорают в огне первого луча, а на спокойном лоне моря их отражения, точно перламутр, всплывший из синей глубины вод.

Выпрямляются встречу солнцу стебли трав и лепестки цветов, отягченные серебром росы, ее светлые капли висят на концах стеблей, полнеют и, срываясь, падают на землю, вспотевшую в жарком сне. Хочется слышать тихий звон их падения, — грустно, что не слышишь его.

Проснулись птицы, перепархивают в листве олив, поют, а снизу вздымаются в гору густые вздохи моря, пробужденного солнцем.

А все-таки — тихо, люди еще спят. В свежести утра запах цветов и трав яснее, чем звуки.

Из двери белого домика, захлестнутого виноградниками, точно лодка зелеными волнами моря, выходит навстречу солнцу древний старец Этторе Чекко, одинокий человек, нелюдим, с длинными руками обезьяны, с голым черепом мудреца, с лицом, так измятым временем, что в его дряблых морщинах почти не видно глаз.

Медленно приподняв ко лбу черную, волосатую руку, он долго смотрит в розовеющее небо, потом — вокруг себя, пред ним, по серовато-лиловому камню острова, переливается широкая гамма изумрудного и золотого, горят розовые, желтые и красные цветы; темное лицо старика дрожит в добродушной усмешке, он утвердительно кивает круглой, тяжелой головой.

Он стоит, точно поддерживая тяжесть, чуть согнув спину, широко расставив ноги, а вокруг него все веселей играет юный день, ярче блестит зелень виноградников, громче щебечут вьюрки и чижи, в зарослях ежевики, ломоноса, в кустах молочая бьют перепела, где-то свистит черный дрозд, щеголеватый и беззаботный, как неаполитанец.

Старый Чекко поднимает длинные усталые руки над головой, потягивается, точно собираясь

лететь вниз, к морю, спокойному, как вино в чаше.

А расправив старые кости, он опустил на камень у двери, вынул из кармана куртки открытое письмо, отвел руку с ним подальше от глаз, прищурился и смотрит, беззвучно шевеля губами. На большом, давно не бритом и точно посеребренном лице его — новая улыбка: в ней странно соединены любовь, печаль и гордость.

Пред ним на куске картона изображены синей краской двое широкоплечих парней, они сидят плечо с плечом и весело улыбаются, кудрявые, большеголовые, как сам старик Чекко, а над головами их крупно и четко напечатано:

«Артуро и Энрико Чекко

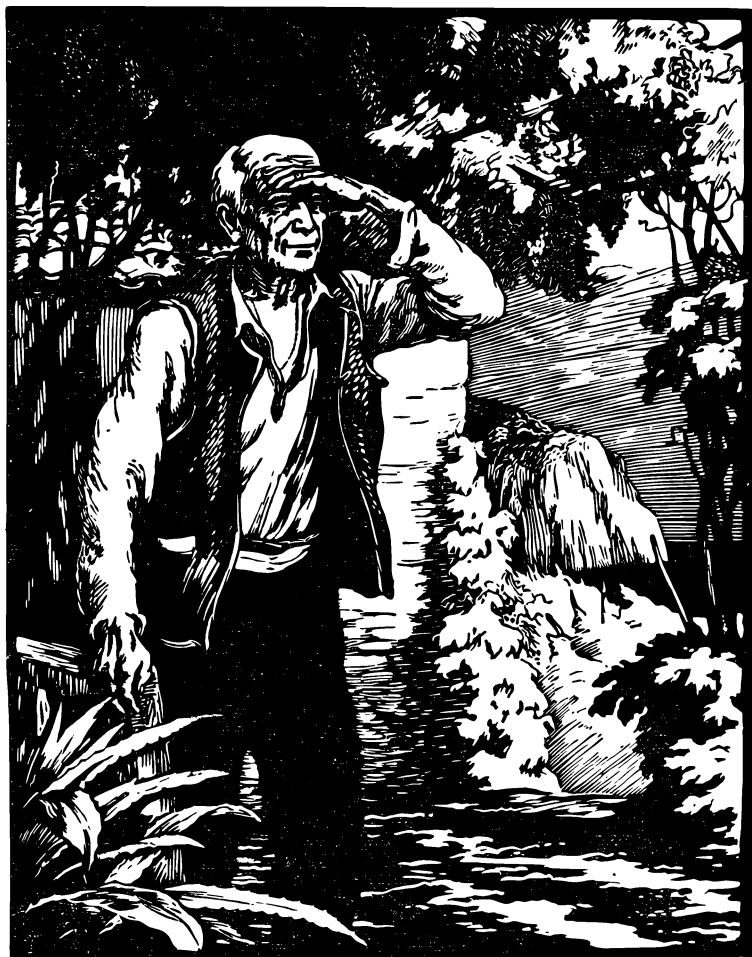
Два благородных борца за интересы своего класса. Они организовали 25 000 текстильных рабочих, заработок которых составлял 6 долларов в неделю, и за это они посажены в тюрьму.

Да здравствуют
борцы за социальную справедливость!»

Старик Чекко неграмотен, и надпись сделана на чужом языке, но он знает, что написано именно так, каждое слово знакомо ему и кричит, поет, как медная труба.

Эта синяя открытка принесла старику много тревоги и хлопот: он получил ее месяца два тому назад и тотчас же, инстинктом отца, почувствовал, что дело неладно: ведь портреты бедных людей печатаются лишь тогда, когда эти люди нарушают законы.

Чекко спрятал в карман этот кусок бумаги, но он лег ему на сердце камнем и с каждым днем все становился тяжелей. Не однажды он хотел



показать письмо священнику, но долгий опыт жизни убедил его, что люди справедливо говорят: «Может быть, поп и говорит богу правду про людей, но людям правду — никогда».

Первый, у кого он спросил о таинственном значении открытки, был рыжий художник, иностранец — длинный и худой парень, который очень часто приходил к дому Чекко и, удобно поставив

мольберт¹, ложился спать около него, пряча голову в квадратную тень начатой картины.

— Синьор,— спросил он художника,— что сделали эти люди?

Художник посмотрел на веселые рожи детей старика и сказал:

— Должно быть, что-то смешное...

— А что напечатано про них?

— Это — по-английски. Кроме англичан, их язык понимает только бог, да еще моя жена, если она говорит правду в этом случае. Во всех других случаях она не говорит правды...

Художник был болтлив, как чиж, он, видимо, ни о чем не мог говорить серьезно. Старик угрюмо отошел прочь от него, а на другой день явился к жене художника, толстой синьоре,— он застал ее в саду, где она, одетая в широкое и прозрачное белое платье, таяла от жары, лежа в гамаке и сердито глядя синими глазами в синее небо.

— Эти люди посажены в тюрьму,— сказала она ломаным языком.

У него дрогнули ноги, как будто весь остров пошатнулся от удара, но он все-таки нашел силы спросить:

— Украли или убили?

— О нет. Просто, они — социалисты.

— Что такое — социалисты?

— Это — политика,— сказала синьора голосом умирающей и закрыла глаза.

Чекко знал, что иностранцы — самые бес-толковые люди, они глупее калабрийцев², но ему

¹ М о л ь б е р т — подставка на трех ножках для рамки с натянутым холстом, на котором художник пишет картину.

² К а л а б р и й ц ы — жители Калабрии, области на юге Италии.

хотелось знать правду о детях, и он долго стоял около синьоры, ожидая, когда она откроет свои большие ленивые глаза. А когда, наконец, это случилось, он — спросил, ткнув пальцем в карточку:

— Это — честно?

— Я не знаю,— ответила она с досадой.— Я сказала — это политика, понимаешь?

Нет, он не понимал: политику делают в Риме министры и богатые люди, для того чтобы увеличить налоги на бедных людей. А его дети — рабочие, они живут в Америке и были славными парнями — зачем им делать политику?

Всю ночь он просидел с портретом детей в руках — при луне он казался черным и возбуждал еще более мрачные мысли. Утром решил спросить священника,— черный человек в сутане¹ кратко и строго сказал:

— Социалисты — это люди, которые отрицают волю бога,— достаточно, если ты будешь знать это.

И добавил еще строже вслед старику:

— Стыдно в твои годы интересоваться такими вещами!..

«Хорошо, что я не показал ему портрет»,— подумал Чекко.

Прошло еще дня три, он пошел к парикмахеру, щеголю и вертопраху. Про этого парня, здорового, как молодой осел, говорили, что он за деньги любит старых американок, которые приезжают будто бы наслаждаться красотой моря, а на самом деле ищут приключений с бедными парнями.

¹ С у т а н а — верхняя длинная одежда у служителей католической церкви.

— Боже! — воскликнул этот дурной человек, прочитав надпись, и щеки его радостно вспыхнули.— Это Артуро и Энрико, мои товарищи! О, я от души поздравляю вас, отец Этторе, вас и себя! Вот у меня и еще двое знаменитых земляков — можно ли не гордиться этим?

— Не болтай лишнего,— предупредил его старик.

Но тот кричал, размахивая руками:

— Это хорошо!

— Что напечатано про них?

— Я не могу прочитать, но я уверен, что напечатали правду. Бедняки должны быть великими героями для того, чтобы о них сказали правду наконец!

— Молчи, прошу тебя,— сказал Чекко и ушел, яростно стуча деревянными башмаками по камням.

Он пошел к русскому синьору, о котором говорили, что это добрый и честный человек. Пришел, сел у койки, на которой тот медленно умирал, и спросил его:

— Что сказано об этих людях?

Прищурив глаза, обесцвеченные болезнью и печальные, русский слабым голосом прочитал надпись на открытке и хорошо улыбнулся старику, а тот сказал ему:

— Синьор, вы видите — я очень стар и уже скоро пойду к моему богу. Когда мадонна спросит меня — что я сделал с моими детьми, я должен буду рассказать ей это правдиво и подробно. Это мои дети здесь на карточке, но я не понимаю, что они сделали и почему в тюрьме?

Тогда русский очень серьезно и просто посоветовал ему:

— Скажите мадонне, что ваши дети хорошо

поняли главную заповедь ее сына: они любят ближних живой любовью...

Ложь нельзя сказать просто: она требует громких слов и многих украшений,— старик поверил русскому и крепко пожал его маленькую и не знавшую труда руку.

— Значит, это не позорно для них — тюрьма?

— Нет,— сказал русский.— Ведь вы знаете, что богатых сажают в тюрьму лишь тогда, если они сделают слишком много зла и не сумеют скрыть это, бедные же попадают в тюрьмы, чуть только они захотят немножко добра. Вы — счастливый отец, вот что я вам скажу!

И слабеньким своим голосом он долго говорил Чекко о том, что затеяно в жизни ее честными людьми, о том, как они хотят победить нищету, глупость и все то, страшное и злое, что рождается глупостью и нищетой...

Солнце горит в небе, как огненный цветок, и сеет золотую пыль своих лучей на серые груди скал, а из каждой морщины камня, встречу солнцу, жадно тянется живое — изумрудные травы, голубые, как небо, цветы. Золотые искры солнечного света вспыхивают и гаснут в полных каплях хрустальной росы.

Старик следит, как все вокруг него дышит светом, поглощая его живую силу, как хлопочут птицы и, строя гнезда, поют; он думает о своих детях: парни за океаном, в тюрьме большого города,— это плохо для их здоровья, плоховато, да...

Но — они в тюрьме за то, что выросли честными ребятами, каким был всю жизнь их отец,— это хорошо для них и для его души.

И бронзовое лицо старика точно тает в гордой улыбке.

— Земля — богата, люди — бедны, солнце — доброе, человек — зол. Всю жизнь я думал об этом, и хотя не говорил им, а они поняли думы отца. Шесть долларов в неделю — это сорок лир, ого! Но они нашли, что этого мало, и двадцать пять тысяч таких же, как они, согласились с ними — этого мало для человека, который хочет хорошо жить...

Он уверен, что в его детях развились и выросли скрытые мысли его сердца, он очень гордится этим, но, зная, как мало люди верят сказкам, которые создают сами же они каждый день, он молчит.

Лишь иногда старое ёмкое сердце переполняется думами о будущем детей, и тогда старый Чекко, выпрямив натруженную спину, выгибает грудь и, собрав последние силы, хрипло кричит в море, в даль, туда, к детям:

— Вальо-о!..¹

И солнце смеется, восходя все выше над густой и мягкой водой моря, а люди с виноградников отвечают старику:

— Ой-и!..

¹ Будьте сильными! (итал.)





НУНЧА

Квартал святого Якова справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, бессмертный Джованни Боккачио и который не однажды был написан на больших полотнах великим Сальватором Роза, другом Томазо Анielle — Мазаниелло, как прозвал его бедный народ, за чью свободу он боролся и погиб, — Мазаниелло родился тоже в нашем квартале.

Вообще — в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей, — в старину они рождались чаще, чем теперь, и были заметней, а ныне, когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало человеку под-

няться выше других, да и душа туго растет, когда ее пеленают газетной бумагой.

До лета прошлого года другою гордостью квартала была Нунча, торговка овощами,— самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла,— над ним солнце стоит всегда немножко дольше, чем над другими частями города. Фонтан, конечно, остался донныне таким, как был всегда; всё более желтея от времени, он долго будет удивлять иностранцев забавной своей красотой,— мраморные дети не стареют и не устают в играх.

А милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца,— редко бывает, чтоб человек умер так, и об этом стоит рассказать.

Она была слишком веселой и сердечной женщиной для того, чтоб спокойно жить с мужем; муж ее долго не понимал этого — кричал, божился, размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в дело, проколов кому-то бок, но полиция не любит таких шуток, и Стефано, посидев немного в тюрьме, уехал в Аргентину; перемена воздуха очень помогает сердитым людям.

Нунча в двадцать три года осталась вдовою с пятилетней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и тележкой,— веселому человеку не много нужно, и для нее этого вполне достаточно. Работать она умела, охотников помочь ей было много; когда же у нее не хватало денег, чтоб заплатить за труд,— она платила смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег.

Не все женщины были довольны ее жизнью, и мужчины, конечно, не все, но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами,— она говорила:

— Кто разлюбил женщину — значит, он не умеет любить...

Артур Лано, рыбак, который юношей учился в семинарии, готовясь быть священником, но потерял дорогу к сутане и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весело, — Лано, великий мастер сочинять нескромные песни, сказал ей однажды:

— Ты, кажется, думаешь, что любовь — наука такая же трудная, как богословие?

Она ответила:

— Наук я не знаю, но твои песни — все. И пропела ему, толстому, как бочка:

Это уж так водится:
Тогда весна была —
Сама богородица
Весною зачала.

Он, разумеется, хохотал, спрятав умные глазки в красный жир своих щек.

Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для всех, даже ее подруги примирились с нею, поняв, что характер человека — в его костях и крови, вспомнив, что даже святые не всегда умели побеждать себя. Наконец, мужчина — не бог, а только богу нельзя изменить...

Лет десять сияла Нунча звездой, всеми признанная первая красавица, лучшая танцовка квартала, и, будь она девушкой, — ее, конечно, выбрали бы королевой рынка, чем она и была в глазах всех.

Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень желали беседовать с нею наедине, — это всегда смешило ее до упада.

— На каком языке будет говорить со мною этот сто раз выстиранный синьор?

— На языке золотых монет, дурочка,— убеждали ее солидные люди, но она отвечала:

— Чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку, помидоров...

Были случаи, когда люди, искренно желавшие ей добра, говорили с нею очень настойчиво:

— Какой-нибудь месяц, Нунча, и — ты богата! Подумай хорошо над этим, вспомни, что у тебя есть дочь...

— Нет,— возражала она,— я люблю мое тело и не могу оскорбить его! Я знаю,— стоит только один раз сделать что-нибудь нехотя, и уже навсегда потеряешь уважение к себе...

— Но,— ведь ты не отказываешь другим!

— Своим, и — когда хочю...

— Э, что такое — свои?

Она знала это:

— Люди, среди которых выросла моя душа и которые понимают ее...

Но все-таки у нее была история с одним форестьером¹ из Англии,— очень странный, молчаливый человек, хотя он хорошо знал наш язык. Молодой, а волосы уже седые, и поперек лица — шрам; лицо — разбойника, глаза святого. Одни говорили, будто бы он пишет книги, другие утверждали, что он — игрок. Она даже уезжала с ним куда-то в Сицилию и возвратилась очень похудевшей. Но он едва ли был богат,— Нунча не привезла с собою ни денег, ни подарков. И снова стала жить среди своих,— как всегда, веселая, доступная всем радостям.

Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно:

¹ Ф о р е с т ь е р (форестьер) — путешественник-иностранец, турист.

— Смотрите-ка,— Нина становится совсем точно мать!

Это была правда, как майский день: дочь Нунчи незаметно для людей разгорелась звездой, такую же яркой, как мать. Ей было только четырнадцать лет, но — очень рослая, пышно-волосая, с гордыми глазами — она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной.

Даже сама Нунча удивилась, присмотревшись к ней:

— Святая мадонна! Неужели ты, Нина, хочешь быть красивей меня?

Девушка, улыбаясь, ответила:

— Нет, только такой, как ты, этого и для меня довольно...

И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидали тень грусти, а вечером она сказала подругам:

— Вот наша жизнь! Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уже потянулась новая рука...

Разумеется, сначала не заметно было и тени соперничества между матерью и Ниной,— дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и пред мужчинами неохотно открывала рот; а глаза матери горели всё жадней, и всё призывней звучал ее голос.

Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца, и это верно: для многих Нунча была первым лучом дня любви, многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своею тележкой, стройная, точно мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед ярко-разноцветной кучей овощей, точно написанная вели-

ким мастером на белом фоне церковной стены,— ее место было у церкви святого Якова, слева от паперти, она и умерла в трех шагах от него. Стоит и — точно горит вся, веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи.

Она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла: чем прозрачнее стекло — тем лучше оно показывает душу вина, цвет всегда дополняет запах и вкус, доигрывая до конца ту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтоб дать душе немножко крови солнца. Вино, о господи! Мир со всем его шумом и суетою не стоил бы ослиного копыта, не имей человек сладкой возможности оросить свою бедную душу хорошим стаканом красного вина, которое, подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряни... Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солнце,— вино расскажет вам такие сказки...

Стоит Нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желание нравиться ей,— пред красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего.

Да, а около матери всё чаще является дочь, скромная, как монахиня или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают, и, может быть, некоторым становится понятно, что иногда чувствует женщина и как обидно ей жить.

Идет время, всё ускоряя свой торопливый, мелкий шаг, золотыми пылинками в красном

луче солнца мелькают во времени люди. Нунча всё чаще сдвигает густые брови, а порою, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты...

Проходит год, два,— дочь всё ближе к матери и — дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковей — на ту или эту. А подруги,— друзья и подруги любят укусьить там, где чешется,— подруги спрашивают:

— Что, Нунча, гасит тебя дочь?

Женщина, смеясь, отвечала:

— Большие звезды и при луне видны...

Как мать — она гордилась красотой дочери, как женщина — Нунча не могла не завидовать юности; Нина встала между нею и солнцем,— матери обидно было жить в тени.

Лано сочинил новую песенку, в первом куплете ее говорилось:

Будь я мужчиной,— я тогда
Заставила бы дочь мою
Родить земле красавицу,
Как я в ее года...

Нунча не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уже говорила Нунче:

— Мы могли бы жить лучше, если б ты была более благоразумна.

И настал день, когда дочь сказала матери:

— Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая, и хочу взять от жизни свое! Ты жила много и весело,— не пришло ли и для меня время жить?

— В чем дело? — спросила мать, виновато опустив глаза,— знала она, в чем дело.

Воротился из Австралии Энрико Борбоне, он

был дровосеком в этой чудесной стране, где всякий желающий легко достает большие деньги, он приехал погреться на солнце родины и снова собирался туда, где живет свободней. Было ему тридцать шесть лет, бородатый, могучий, веселый, он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах; все принимали эту жизнь за сказку, мать и дочь — за правду.

— Я вижу, что нравлюсь Энрико,— говорила Нина,— а ты с ним играешь, и это, делая его легкомысленным, мешает мне.

— Понимаю,— сказала Нунча.— Хорошо, ты не станешь жаловаться мадонне на твою мать...

И эта женщина честно отошла прочь от человека, который — все видели — был приятен ей больше многих других.

Но известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми, а если победитель еще дитя — дело совсем плохо!

Нина стала говорить со своей матерью не так, как заслуживала Нунча; и вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а Нунча уже великолепно станцевала тарантеллу,— дочь заметила ей при всех:

— Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе, пора щадить сердце...

Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду, а Нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока:

— Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо! Но — посмотрим, чье сердце сильнее!

И, подумав, предложила:



— Мы пробежим с тобою отсюда до фонтана трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно...

Многим показалась смешной эта гонка женщин, были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу, но большинство, уважая Нунчу, взглянуло на ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов матери.

Выбрали судей, назначили предельную скорость бега,— всё, как на скачках, подробно и точно. Было много женщин, и мужчин, которые, искренно желая видеть мать победительницей, благословляли ее и давали добрые обеты мадонне, если только она согласится помочь Нунче, даст ей силу.

И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга, вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы,— мать в красном платке на голове, дочь — в голубом.

Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в легкости и силе,— Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка,— люди стали бросать из окон и с тротуаров цветы под ноги ей и рукоплескали, одобряя ее криками; в два конца она опередила дочь на четыре минуты с лишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступени паперти,— не могла уже бежать третий раз.

Бодрая, словно кошка, Нунча наклонилась над нею, смеясь вместе со многими:

— Дитя,— говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой,— дитя, надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви — сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за тридцать... дитя, не огорчайся!..

И, не давая себе отдохнуть после бега, Нунча снова пожелала танцевать тарантеллу:

— Кто хочет?

Вышел Энрико, снял шляпу и, низко поклонясь этой славной женщине, долго держал голову почтительно склоненной перед нею.

Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспых-

нула эта пламенная пляска, опьяняющая, точно старое, крепкое, темное вино; завертелась Нунча, извиваясь, как змея, — глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное непобедимое тело.

Плясала она долго, со многими, мужчины уставали, а она всё не могла насытиться, и уже было за полночь, когда она, крикнув:

— Ну, еще раз, Энри, последний! — снова медленно начала танец с ним — глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали много, — но вдруг, коротко вскрикнув, она всплеснула руками и упала, как подрубленная под колени.

Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца.

Вероятно...





МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ МИРА

С поля в город тихо входит ночь в бархатных одеждах, город встречает ее золотыми огнями; две женщины и юноша идут в поле, тоже как бы встречая ночь; вслед им мягко стелется шум жизни, утомленной трудами дня.

Тихо шаркают три пары ног по темным плитам древней дороги, мощенной разноплеменными рабами Рима; в теплой тишине ласково и убедительно звучит голос женщины:

— Не будь суров с людьми...

— Разве ты, мама, замечала за мной это? — вдумчиво спрашивает юноша.

— Ты слишком горячо споришь...

— Горячо люблю мою правду...

С левой руки юноши идет девушка, щелкая по камню деревянными башмаками, закинув, точно слепая, голову в небо,— там горит большая вечерняя звезда, а ниже ее — красноватая полоса зари и два тополя врезались в красное, как незажженные факелы.

— Социалистов часто сажают в тюрьму,— вздохнув, говорит мать.

Сын спокойно отвечает:

— Перестанут. Это ведь бесполезно...

— Да, но пока...

— Нет и не будет сил, которые могли бы убить молодое сердце мира...

— Это — слова для песни, сынок...

— Миллионы голосов поют эту песню, и все более внимательно слушает ее вся жизнь...
Вспомни-ка: разве ты прежде так терпеливо и ласково слушала меня или Паоло, как слушаешь теперь?

— Да! Да... но вот стачка принудила тебя уйти из родного города...

— Он мал для двоих, пусть остается Паоло! А стачку мы выиграли...

— Выиграли,— звучно откликнулась девушка.— Ты и Паоло...

Не кончив, она тихонько смеется, потом с минуту все идут молча. Навстречу им выдвигается, поднимаясь с земли, темный холм,— развалины какого-то здания,— над ним задумчиво опустил тонкие ветви ароматный эвкалипт, и, когда они трое поравнялись с деревом, ветви его как будто тихо вздрогнули.

— Вот — Паоло,— говорит девушка.

Черная высокая фигура отделилась от развалин и стоит среди дороги.

— Сердцем увидела? — спросил юноша, смеясь.

Впереди звучит эхом:

— Идешь?

— Да. Вот тебе — мои. Не провожайте меня дальше, не нужно! У меня всего пять часов пути до Рима, и я ведь намеренно пошел пешком, чтобы собраться в дороге с мыслями...

Остановились... Высокий снял шляпу и говорит надорванным голосом:

— Ты можешь быть спокоен за мать и сестру, — все будет хорошо!

— Я знаю. До свидания, мама!

Она всхлипывает, стонет тихонько; потом звучат три крепких поцелуя и мужественный голос:

— Иди домой и спокойно отдыхай, поволновалась ты за эти буйные дни! Иди, все будет хорошо! Паоло такой же сын тебе, как я! Ну, сестренка...

Снова поцелуи и сухой шорох ног по камням, — чуткая ночная тишина отражает все звуки, как зеркало.

Четыре фигуры, окутанные тьмою, плотно слились в одно большое тело и долго не могут разъединиться. Потом молча разорвались: трое тихонько поплыли к огням города, один быстро пошел вперед, на запад, где вечерняя заря уже погасла и в синем небе разгорелось много ярких звезд.

— Прощай! — тихо и печально раздается в ночи.

Издали откликнулся бодрый голос:

— Прощай! Не грусти, скоро увидимся...

Сухо стучат деревянные башмаки девушки, сиповатый голос говорит утешающие слова:



— Он не пропадет, донна Филомена, можете верить в это, как в милость вашей мадонны. У него — хороший ум, крепкое сердце, он сам умеет любить и легко заставляет других любить его... А любовь к людям — это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего...

Город все обильней сеет во тьму свои скром-

ные, бледные огни; слова высокого человека тоже сверкают, как искры.

— Когда человек несет в сердце своем слово, объединяющее мир, он везде найдет людей, способных оценить его,— везде!

У городской стены прижался к ней, присел на землю низенький, белый кабачок и призывно смотрит на людей квадратным оком освещенной двери. Около нее, за тремя столиками, шумят темные фигуры, стонут струны гитары, нервно дрожит металлический голос мандолины.

Когда трое поравнялись с дверью, музыка замолкла, голоса стали тише, несколько фигур поднялось.

— Добрый вечер, товарищи! — сказал высокий.

И десяток голосов ответил радостно, дружески:

— Добрый вечер, Паоло, товарищ! К нам?
Стакан вина?

— Нет... Благодарю!

Мать, вздохнув, сказала:

— И тебя очень любят все наши...

— Наши, донна Филомена?

— Э, не смейся... Не чужая своему народу говорит с тобой... Все любят вас: тебя и его...

Высокий взял девушку под руку, говоря:

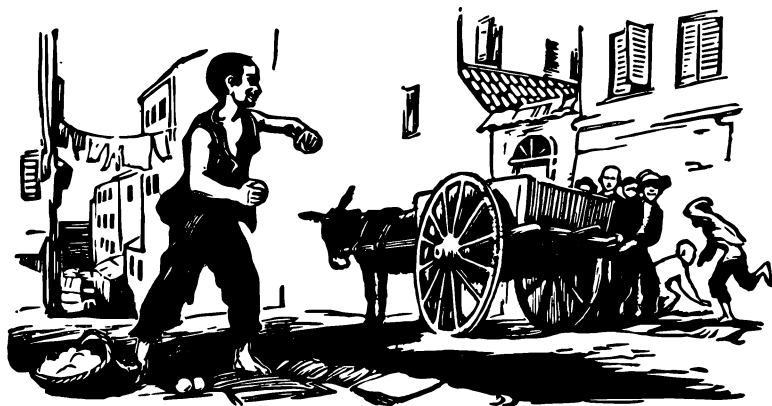
— Все и — еще одна... Так?

— Да,— тихо сказала девушка.— Конечно...

Тогда мать рассмеялась негромко:

— Ах, дети!.. Слушаешь вас, смотришь и — веришь: да, вы станете жить лучше, чем жили мы...

И все трое рядом скрылись в улице города, узкой и растрепанной, как рукав старой, изношенной одежды...



П Е П Е

Пепе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица, пестрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дыры выглядывает кожа, темная от солнца и грязи.

Он похож на сухую былинку, — дует ветер с моря и носит ее, играя ею, — Пепе прыгает по камням острова, с восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льется его неутомимый голосишко:

Италия прекрасная,
Италия моя!..

Его все занимает: цветы, густыми ручьями

текущие по доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы в чеканной листве олив, в малахитовом кружеве виноградника, рыбы в темных садах на дне моря и форестьеры на узких, запутанных улицах города: толстый немец, с расковыранным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминающий актера, который привык играть роль мизантропа¹, американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть похожим на англичанина, и неподражаемый француз, шумный, как погремужка.

— Какое лицо! — говорит Пепе товарищам, указывая всевидящими глазами на немца, надутого важностью до такой степени, что у него все волосы дыбом стоят. — Вот лицо, не меньше моего живота!

Пепе не любит немцев, он живет идеями и настроениями улицы, площади и темных лавочек, где свои люди пьют вино, играют в карты и, читая газеты, говорят о политике.

— Нам, — говорят они, — нам, бедным южанам, ближе и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники, наградившие нас за дружбу с ними песком Африки.

Все чаще говорят это простые люди юга, а Пепе все слышит и все помнит.

Скучно, ногами, похожими на ножницы, шагает англичанин, — Пепе впереди его и напевает что-то из зауспокойной мессы² или печальную песенку:

Мой друг недавно умер,
Грустит моя жена...

¹ М и з а н т р о п — человек, избегающий общества людей, нелюдим.

² З а у п о к о й н а я м е с с а — богослужение при погребении покойника.

А я не понимаю,
Отчего она так грустна?

Товарищи Пепе идут сзади, кувыркаясь со смеха, и прячутся, как мыши, в кусты, за углы стен, когда форестьер посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз.

Множество интересных историй можно рассказать о Пепе.

Однажды какая-то синьора поручила ему отнести в подарок подруге ее корзину яблок своего сада.

— Заработаешь сольдо!¹ — сказала она.— Это ведь не вредно тебе...

Он с полной готовностью взял корзину, поставил ее на голову себе и пошел, а воротился за сольдо лишь вечером.

— Ты не очень спешил! — сказала ему женщина.

— Но все-таки я устал, дорогая синьора! — вздохнув, ответил Пепе.— Ведь их было более десятка!

— В полной до верха корзине? Десяток яблок?

— Мальчишек, синьора.

— Но — яблоки?

— Сначала — мальчишки: Микеле, Джованни...

Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула:

— Отвечай, ты отнес яблоки?

— До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я вел себя: сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки,— пусть,

¹ С о л ь д о — мелкая монета.

думаю, они сравнивают меня с ослом, я все стерплю из уважения к синьоре,— к вам, синьора. Но когда они начали смеяться над моей матерью,— ага, подумал я, ну, это вам не пройдет даром. Тут я поставил корзину, и — нужно было видеть, добрая синьора, как ловко и метко попадал я в этих разбойников,— вы бы очень смеялись!

— Они растащили мои плоды?! — закричала женщина.

Пепе, грустно вздохнув, сказал:

— О нет. Но те плоды, которые не попали в мальчишек, разбились о стены, а остальные мы съели, после того как я победил и помирился с врагами...

Женщина долго кричала, извергая на бритую голову Пепе все проклятия, известные ей,— он слушал ее внимательно и покорно, время от времени прищелкивая языком, а иногда, с тихим одобрением, восклицая:

— О-о, как сказано! Какие слова!

А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал вслед ей:

— Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников,— ах, если б вы видели это! — вы дали бы мне два сольдо вместо обещанного одного!

Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя,— она только погрозила ему железным кулаком.

Сестра Пепе, девушка много старше, но не умнее его, поступила прислугой — убирать комнаты — на виллу богатого американца. Она сразу же стала чистенькой, румяной и, на хороших



хлебах, начала заметно наливаться здоровым соком, как груша в августе.

Брат спросил ее однажды:

— Ты ешь каждый день?

— Два и три раза, если хочу, — с гордостью ответила она.

— Пожалела бы зубы! — посоветовал ей Пепе и задумался, а потом спросил снова:

— Очень богат твой хозяин?

— Он? Я думаю — богаче короля!

— Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у твоего хозяина?

— Это трудно сказать.

— Десять?

— Может быть, больше...

— Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и теплые,— сказал Пепе.

— Зачем?

— Ты видишь — какие у меня?

Видеть это было трудно,— от штанов Пепе на ногах его оставалось совсем немного.

— Да,— согласилась сестра,— тебе необходимо одеться! Но он ведь может подумать, что мы украли?

Пепе внушительно сказал ей:

— Не нужно считать людей глупее нас! Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка!

— Ведь это песня! — не соглашалась сестра, но Пепе быстро уговорил ее, а когда она принесла в кухню хорошие брюки светло-серого цвета и они оказались несколько длиннее всего тела Пепе, он тотчас догадался, как нужно сделать.

— Дай-ка нож! — сказал он.

Вдвоем они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика: вышел несколько широковатый, но уютный мешок, он придерживался на плечах веревочками, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо рукавов отлично служили карманы.

Они устроили бы еще лучше и удобнее, но им помешала в этом супруга хозяина брюк: явилась в кухню и начала говорить самые грубые слова на всех языках одинаково плохо, как это принято американцами.

Пепе ничем не мог остановить ее красноречие, он морщился, прикладывал руку к сердцу, хватался в отчаянии за голову, устало вздыхал, но она не могла успокоиться до поры, пока не явился ее муж.

— В чем дело? — спросил он.

И тогда Пепе сказал:

— Синьор, меня очень удивляет шум, поднятый вашей синьорой, я даже несколько обижен за вас. Она, как я понял, думает, что мы испортили брюки, но уверяю вас, что для меня они удобны! Она, должно быть, думает, что я взял последние ваши брюки и вы не можете купить других...

Американец, спокойно выслушав его, заметил:

— А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию.

— Да-а? — очень удивился Пепе. — Зачем?

— Чтобы тебя отвели в тюрьму...

Это очень огорчило Пепе, он едва не заплакал, но сдержался и сказал с достоинством:

— Если это вам нравится, синьор, если вы любите сажать людей в тюрьму, то — конечно! Но я бы не сделал так, будь у меня много брюк, а у вас ни одной пары! Я бы дал вам две, пожалуй — три пары даже; хотя три пары брюк нельзя надеть сразу! Особенно в жаркий день...

Американец расхохотался; ведь иногда и богатому бывает весело.

Потом он угощал Пепе шоколадом и дал ему франк. Пепе попробовал монету зубом и поблагодарил:

— Благодарю вас, синьор! Кажется, монета настоящая?

Всего лучше Пепе, когда он один стоит где-нибудь в камнях, вдумчиво разглядывая их

трещины, как будто читая по ним темную историю жизни камня. В эти минуты живые его глаза расширены, подернуты красивой пленкой, тонкие руки за спиною и голова, немножко склоненная, чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то мурлычет тихонько, — он всегда поет.

Хорош он также, когда смотрит на цветы, — лиловыми ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий трепет шелковых лепестков под дыханием морского ветра.

Смотрит и поет:

— Фиорино-о... фиорино-о...¹

Издали, как удары огромного тамбурина², доносятся глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами, — Пепе поднял голову и следит за ними, шурясь от солнца, улыбаясь немножко завистливой и грустной, но все-таки доброй улыбкой старшего на земле.

— Чо! — кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную ящерицу.

А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет белого кружева прибоя, Пепе, сидя где-нибудь на камне, смотрит острыми глазами в прозрачную воду: там, среди рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро мелькают креветки³, боком ползет краб. И в тишине, над голубою водой тихонько течет звонкий, задумчивый голос мальчика:

— О море... море...

Взрослые люди говорят о мальчике:

¹ Ф и о р и н о — цветочек.

² Т а м б у р и н — итальянский музыкальный инструмент, напоминающий бубен.

³ К р е в е т к а — род мелкого морского рака с длинным брюшком.

— Этот будет анархистом!

А кто по добрей, из тех, что более внимательно присматриваются друг ко другу,— те говорят иначе:

— Пепе будет нашим поэтом...

Пасквалино же, столяр, старик с головою, отлитой из серебра, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый и всеми почитаемый Пасквалино говорит свое:

— Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!

Очень многие верят ему.



СОДЕРЖАНИЕ

Б. Бялик. Предисловие	3
Забастовка в Неаполе¹	9
Дети из Пармы	16
Симплонский туннель	22
Свадьба	29
Драма одной любви	36
Слава Матери!	46
Мать изменника	57
Заветы рыбака	67
Как Джиованни стал социалистом	76
Жизнь — прекрасна!	86
Старый Чекко и его сыновья	94
Нунча	103
Молодое сердце мира	114
Пепе	119

¹ Названия сказок даны редакцией. У М. Горького они имеют только номера.

для СРЕДНЕГО и СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Алексей Максимович Горький

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

ИБ № 9718

Ответственный редактор *Г. И. Гусева*. Художественный редактор *В. А. Горячева*. Технический редактор *М. В. Гагарина*. Корректоры *А. А. Гусельникова*, *Г. Ю. Жильцова*. Сдано в набор 07.07.86. Подписано к печати 04.12.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. кн.-журн. № 2. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 7,56. Уч.-изд. л. 5,08. Тираж 500 000 экз. (2-й завод 250 001—500 000 экз.). Заказ № 3858. Цена 45 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сушецкий вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»





45 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»